Последняя картина Сары де Вос

Автор:

Доминик Смит

Последняя картина Сары де Вос

Доминик Смит

Азбука-бестселлер

Впервые на русском – новейшая книга от автора международного бестселлера «Прекрасное разнообразие». «Последняя картина Сары де Вос» – это «удивительный роман о судьбе, выборе и последствиях этого выбора, уверенно играющий на территории „Девушки с жемчужной сережкой“ Трейси Шевалье и „Щегла“ Донны Тартт» (Library Journal). Действие начинается в Нью-Йорке конца 1950-х годов, на благотворительной манхэттенской вечеринке. Когда гости расходятся, преуспевающий юрист Марти де Гроот обнаруживает, что картина «На опушке леса», хранившаяся в его семье более трех веков, заменена подделкой. Как считается, это единственное сохранившееся полотно кисти Сары де Вос – живописца голландского Золотого века и первой женщины, принятой в амстердамскую Гильдию Святого Луки (профессиональное объединение художников). Полиция оказывается бессильна, однако нанятый де Гроотом частный детектив вскоре выходит на след Элли Шипли – молодой бруклинской реставраторши родом из Австралии; по мнению сыщика, Элли может иметь отношение к подделке, и Марти де Гроот решает познакомиться с девушкой поближе...

«Смит поражает читателя не только лихостью авантурной интриги, но и виртуозным переплетением трех сюжетных линий, разворачивающихся в трех временных пластах и на трех разных континентах. Вынесенная в название романа картина буквально преобразует судьбы героев...» (Washington Post).

Доминик Смит

Последняя картина Сары де Вос

Dominic Smith

THE LAST PAINTING OF SARA DE VOS

Copyright © 2016 by Dominic Smith

All rights reserved

Published by arrangement with Sarah Crichton Books, imprint of Farrar, Straus and Giroux, New York.

© Е. М. Доброхотова-Майкова, перевод, комментарии, 2019

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019

Издательство АЗБУКА®

* * *

Тамаре Смит, члену парламента – любимой сестре, верному другу,
первопроходцу

От автора

В семнадцатом веке в Нидерландах Гильдия святого Луки регламентировала все аспекты профессиональной жизни художника, в том числе выдавала разрешение подписывать и датировать собственные работы. В гильдии состояли такие художники, как Рембрандт, Вермеер, Франс Хальс и Ян ван Гойен. Из сохранившихся документов можно заключить, что на протяжении семнадцатого века членами гильдии были по меньшей мере двадцать пять женщин. Однако лишь ничтожная часть их работ сохранилась и правильно атрибутирована. Больше ста лет картины Юдит Лейстер приписывали Франсу Хальсу[1 - Больше ста лет картины Юдит Лейстер приписывали Франсу Хальсу. – Юдит Янс Лейстер (1609–1660) – нидерландская художница, автор портретов, натюрмортов, жанровых сцен, предположительно ученица Франса Хальса, жена художника Юна Моленара, мать пятерых детей, с 1633 года – член харлемской Гильдии святого Луки.].

Один из пробелов в исторической летописи относится к Саре ван Баалберген, первой женщине, принятой в харлемскую Гильдию святого Луки. Она вступила туда в 1631-м, за два года до Юдит Лейстер. Ни одна работа ван Баалберген не дошла до наших дней.

Хотя история эта вымышленная, подобные лакуны служили трамплинами для воображения. Для целей повествования в ней соединены детали из биографий нескольких женщин голландского Золотого века.

На опушке леса (1636)

Холст, масло

30 ? 24 дюйма

Сара де Вос

Голландия, 1607–16??

Зимняя сцена в сумерках. На переднем плане стоит рядом с серебристой березой девочка, приложив к коре бледную руку, и смотрит на конькобежцев на

замерзшей реке. Их около полудюжины, все тепло закутаны, крапинки бурой и желтой одежды скользят надо льдом. Мальчик катится по широкой дуге, рядом с ним собака тигрового окраса. Вскинув одну руку в варежке, он машет девочке и нам. Выше по реке – сонная деревенька, из труб поднимается дым, светящиеся окна кажутся еще ярче из-за свинцового неба. Единственный водопад света на горизонте, луг под просветом в облаках, затем, словно озарение, – босые ноги девочки на снегу. Ворон – фиолетовый и чуть мерцающий – каркает на ветке рядом с ней. В одной руке она держит растрепанную черную ленту, зажатую между тонкими пальчиками; подол ее платья, выступающий из-под длинной серой шали, изорван. Лицо видно почти в профиль, темные спутанные волосы рассыпались по плечам. Взгляд устремлен вдаль, но что удерживает девочку на месте – страх или странный ореол зимних сумерек? Она то ли не хочет, то ли не может дойти до замерзшей реки. Ее следы идут по снегу из леса, из-за края рамы. Она как будто вошла извне картины, выступила на полотно из нашего мира, не из своего.

Часть первая

Верхний Ист-Сайд

Ноябрь 1957 г.

Картину украли в ту неделю, когда русские запустили собаку в космос. Сняли со стены над супружеской кроватью во время благотворительного обеда в пользу сирот. Так Марти де Гроот будет излагать эту историю все следующие годы, рассказывать партнерам по юридической фирме, вставлять как комическую интермедию за обедами и за выпивкой в сквош-клубе. Мы окунали креветок в коктейльный соус, вынеся лучший фарфор Рейчел на террасу, потому что для ноября погода была необычно теплая, а тем временем грабители, переодетые официантами, заменили подлинник безупречно сделанной копией. Он будет особенно гордиться последней частью фразы: «безупречно сделанной копией». Эти слова он будет употреблять в разговорах с друзьями, страховыми агентами и частным детективом, поскольку они создают динамичную завязку истории –

подразумевают, что некий преступный гений долго готовился украсть его картину, в точности как русские все эти годы тайно готовились колонизировать стратосферу. Кроме того, эти слова помогают замаскировать тот факт, что Марти несколько месяцев не замечал подмены.

О чем он будет умалчивать, рассказывая эту историю, так это что «На опушке леса» принадлежала его семье больше трех веков и перешла к нему от отца. Не станет он упоминать и того, что это единственная сохранившаяся картина Сары де Вос, первой женщины, принятой в голландскую Гильдию святого Луки. Да и кому он мог бы рассказать, что любил смотреть на бледное загадочное личико девочки на картине, медленно, медитативно занимаясь любовью с женой в годы ее депрессии после второго выкидыша? Нет, это Марти будет держать при себе, как личную веру в капризного бога. Он агностик, но подвержен приступам дикого суеверия – черта, которую старается скрыть. Он убедит себя, что пропажа картины исцелила Рейчел от депрессии и помогла ему наконец-то стать партнером в фирме. И что над картиной тяготело проклятие, объясняющее триста лет подагры, ревматизма, инфарктов, инсультов и бесплодия в его роду. Где бы она ни висела – в Лондоне, Амстердаме или Нью-Йорке, – предыдущие владельцы не доживали до шестидесяти лет.

Рейчел заказала «битников напрокат», чтобы встряхнуться. Она с тоской представляла, как патентные поверенные с запонками в манжетах, слегка захмелев, беседуют о недвижимости и нантакетском яхт-клубе, и вдруг вспомнила рекламную заметку, которую вырезала из журнала для выпускников и положила в свою коробку с рецептами. «Добавьте огонька вашему торжественному банкету... возьмите напрокат битника. В комплект входят: борода, черные очки, старая армейская куртка, джинсы „Левис“, потертая рубашка, кеды или сандалии (опционально). Скидки за отсутствие бороды, немытость либо отсутствие обуви. Доступны также битницы».

Если каждый год собирать деньги для городских сирот – сама эта фраза отдавала диккенсовской сентиментальностью, – то почему бы не впустить к себе сам город, не добавить красок Нижнего Ист-Энда и Гринвич-Виллидж? На звонок Рейчел ответила насморочная женщина, явно читавшая по бумажке. За двести пятьдесят долларов, монотонно пробубнила она, в назначенное время к вам придут два художника, два поэта и два интеллектуала. Рейчел представила подвал в Квинсе, где разведенки в наушниках сидят под лампами дневного света, словно африканские фиалки. Представила, как безработные актеры едут

из Хобокена с ее адресом, записанным на спичечном коробке. Женщина спросила: «Сколько битников вы хотите, мэм?» и «Предпочитаете девушек в мексиканских шалях или в болеро?» К концу разговора Рейчел выбрала весь гардероб вплоть до балеток, беретов, солнечных очков и серебряных сережек. Это было три недели назад, и сейчас – в день приема – Рейчел гадает, не совершила ли ошибку. Русская собака летает над планетой, и невинный хозяйкин розыгрыш могут счесть легкомысленным и непатриотичным. Она размышляет об этом все утро, не решаясь сказать Марти, что ровно в девять, после коктейлей, к ним явятся богемные личности.

Марти тоже запланировал маленькую шутку для гостей и коллег. Он держит свою затею при себе, покуда Рейчел суетится среди официантов. К пяти все три этажа довоенного пентхауса благоухают лилиями и свежим хлебом, и от этого все чувства Марти странно обострены. Он стоит у стеклянных дверей на террасу верхнего этажа и смотрит, как комнату золотит вечерний свет. Есть что-то ностальгически уютное в наступлении сумерек. В это время дня и года все кажется невозможно реальным и основательным, каждая вещь исполнена значения. В детстве комната всегда казалась ему музейной, неживой. Мрачные деревянные интерьеры – фон голландских портретов семнадцатого века – действовали угнетающе, лаковые восточные шкатулки казались суровыми и высокомерными, но теперь, когда все это – его собственность, ему приятно смотреть на эти вещи в час до того, как зажгут первую лампу. Закрывая глаза, Марти чувствует запах олифы от морских пейзажей; турецкие коврики для намаза почему-то пахнут прогретым сеном. Он наливает себе на два пальца односолодового виски и усаживается в кожаное голландское кресло, которое Рейчел называет «гамлетовским». Десятилетний бигль Керреуэй вбегает из коридора, скользит по паркету, позвякивая жетоном. Марти опускает руку, и пес лижет ему пальцы. Тут-то он и видит через двери кухни-столовой Рейчел среди официантов в накрахмаленных белых фартуках. Склонив голову, теребя нитку жемчуга, она отдает распоряжения так серьезно, будто речь о национальной безопасности, а не о плове и семге. Она всегда бывает на пике формы при подготовке – к путешествию, к обеду, к приему. Дальше наступает тихая усталость, которую они оба старательно не замечают. Она все время напряжена, как будто вот-вот судорожно вздохнет, и, прежде чем войти в комнату, внутренне собирается, словно актер перед выходом на сцену. Если Марти поздно возвращается с работы, он иногда застает ее спящей в гостиной при включенном свете; рядом, свернувшись, дремлет Керреуэй. А иногда Марти находит в доме пустые винные бокалы, в библиотеке или рядом с кроватью, и русский роман, засунутый между подушками или брошенный на террасе

выцветать и трепаться на ветру.

Рейчел ловит его взгляд и подходит. Он чешет Керреуэя за ухом, улыбается ей. Последние пять лет стали рубежом очередного двадцатилетия. Весной ему исполнилось сорок – веха на пути его заглохшей карьеры, а также их с Рейчел неспособности иметь детей. Все надо было начинать раньше – учебу, профессиональную деятельность, семью. Из-за унаследованного богатства Марти ни с чем не спешил, пока ему не перевалило за тридцать. Он в фирме седьмой год – вполне могли бы уже сделать его партнером. Он чувствует на себе взгляд приближающейся Рейчел – зачем мы так долго откладывали? Она на восемь лет младше его, но менее жизнестойкая. Не столько хрупкая, сколько опасливая и ранимая. Долю секунды ему кажется, что она собирается одарить его благостным супружеским поцелуем – это один из отрепетированных жестов, который Рейчел иногда извлекает из складок своей депрессии. Но нет, она говорит, чтобы он не набрал на парадные брюки собачьих волос. Марти успевает почувствовать запах бургундского у нее изо рта и внезапно ловит себя на мысли: интересно, что думают о ней официанты? Устыдившись, он провожает Рейчел взглядом, пока та не исчезает в двери спальни дальше по коридору. Довольно долго он сидит в сгущающихся сумерках, потом встает и идет по комнате, щелкая выключателями.

За несколько минут до семи Харт Гановер, консьерж, звонит и сообщает де Гроотам, что посадил в лифт первых гостей, Клэя и Селию Томас. Марти благодарит его и вовремя вспоминает осведомиться о матери Харта, тихо умирающей от рака в Квинсе. «Держится, мистер де Гроот, спасибо, что спросили». Харт был консьержем в этом доме на углу Восточной восемнадцатой улицы и Пятой авеню, еще когда отец Марти в двадцатых годах купил здесь пентхаус. В узком четырнадцатизэтажном доме всего шесть квартир, и все жильцы обращаются с Хартом как с добрым обедневшим дядюшкой. Марти говорит, что придет с официантом поднос еды, и вешает трубку. Они с Рейчел спускаются на нижний этаж и ждут перед лифтом. Старший партнер и его жена всегда первыми приходят и первыми уходят. Им обоим за шестьдесят; они дают летние приемы, которые заканчиваются засветло.

Открывается лифт, Томасы выходят на черный мраморный пол вестибюля. Рейчел всегда сама принимает у гостей плащи и шляпы, и что-то в этой ритуальной претензии на домашнюю простоту действует Марти на нервы. Экономка Гестер сейчас, наверное, у себя в комнате, смотрит телевизор, потому

что Рейчел демонстративно дала ей на сегодняшний вечер выходной. Марти стоит и смотрит, как жена принимает у его начальника теплое не по сезону верблюжье пальто и кашемировую шаль у Селии. Клэй, входя к ним, всякий раз выглядит слегка недовольным. Он словно высечен из голубого сланца новоанглийской аристократии – потомок церковников, интеллектуалов, политиков, воспринимающий свои привилегии как нечто положенное от рождения. Наследственное богатство Марти ему претит; входя, он всякий раз двигает желваками, как будто ощущает привкус железа во рту. Марти подозревает, что именно из-за этого до сих пор не стал партнером; его трехэтажная квартира с видом на Метрополитен-оперу и Центральный парк оскорбляет патрицианские вкусы его начальника.

Клэй утирает руки в карманы брюк и слегка наклоняется вперед всем телом, на лице – избыток наигранной веселости. У него вид человека, который рубил дрова и взбодрился от морозного воздуха.

Клэй говорит:

– Марти, вы что, добавили к своей квартире еще этаж? Клянусь, с прошлого раза она стала выше!

Марти вежливо хмыкает, но не отвечает. Они с Клэем обмениваются рукопожатиями, чего никогда не делают в офисе, затем Марти целует Селию в щечку. За спиной у гостей Рейчел, полускрытая в тени платяного шкафа, гладит рукой шелковистую шаль Селии. Она могла бы уйти в шкаф и не вернуться, думает Марти.

– Клэй заставил нас обоих идти пешком через весь парк, – жалуется Селия.

– Давайте поднимемся, и мы предложим вам выпить, – говорит Рейчел, ведя их к лестнице.

Клэй снимает очки в тяжелой оправе и протирает их носовым платком. Под лампой в коридоре Марти замечает багровый след у него на переносице и думает о деревенском пасторе, готовящемся начать пламенную проповедь.

Клэй говорит:

– Я счел, что, раз мы собираем деньги на сирот, надо идти пешком. К тому же сегодня чудесный вечер. Не беспокойся, дорогая, обратно поедem на такси. Предупреждаю вас, Марти, я нагулял себе такой аппетит, что готов есть, как викинг.

– Вам повезло: Рейчел наняла всех рестораторов штата, – отвечает Марти.

Они поднимаются на четырнадцатый этаж и идут по коридору к террасе, мимо закрытых дверей спален. Марти унаследовал отцовскую черту: желание строго отделять личное пространство от общественного. Он даже любимые книги держит в спальне, а не в библиотеке, поскольку считает их формой исповедального признания. Когда они с гостями проходят мимо кухни в парадную комнату, снаружи начинает играть струнный оркестр. Освещенные небоскребы за парапетом террасы, по другую сторону парка, кажутся океанскими лайнерами, рассекающими темноту над кронами деревьев. С губ Селии слетает легчайший вздох зависти. Марти вспоминает строгий каменный особняк Томасов с его узкими окнами, пахнувший, как жилище настоятеля. Клэй многозначительно покашливает, разглядывая уставленные закусками банкетные столы на террасе, пирамиды из креветок и поблескивающего льда.

Селия сглатывает и произносит:

– Рейчел, как всегда, все выглядит потрясающе.

– Я всего лишь сделала несколько телефонных звонков.

– Я бы так не сказал, – вставляет Марти. – Это было что-то вроде подготовки к высадке в Нормандию и заняло несколько недель. Так или иначе, мы рассчитывали воспользоваться погодой. Так что выбирайте, угощаться в зале или на террасе.

– Направьте меня к джину с соком и блюдечку соленого арахиса, – говорит Клэй, брэнча в кармане мелочью.

Марти воображает, как тот стоит перед аскетическим письменным столом или перед секретаршей и сгребает в карман вечерних брюк десятицентовики и четвертаки. Наверняка в каком-нибудь из карманов у него лежит перочинный ножик.

– Извините, Клэй, придется вам обойтись креветками и бри, – говорит Марти, жестом приглашая их на террасу.

Звенит дверной звонок, и Рейчел убегает по коридору раньше, чем Марти успеваает ее остановить.

На обед Благотворительного общества (двести долларов тарелка) каждый год собирается человек шестьдесят – адвокаты, хирурги, руководители фирм, жены богатых людей, отставной дипломат. Женщины в вечерних платьях, мужчины в смокингах, места за десятью круглыми столами отмечены карточками с каллиграфически написанными именами. Раз в год Рейчел по телефону диктует список гостей японскому художнику в Челси, через три дня по почте приходят карточки в конверте из рисовой бумаги. Марти рассаживает гостей по методу, который узнал от европейского друга – аукциониста в «Сотбис». Он размещает самых богатых ближе к столу «молчаливого аукциона»^{[2} – Он размещает самых богатых ближе к столу «молчаливого аукциона»... – «Молчаливый аукцион» – распространенная в фандрайзинге форма аукциона, при которой нет аукциониста с молотком – просто лежат отдельные листы на каждый лот, в которые участники вписывают свои имена и ставки. На протяжении обеда можно неоднократно подходить, смотреть, перебили ли вашу ставку, и при желании делать новую.] и поручает официантам подливать им вино каждые пятнадцать минут. Благодаря этой стратегии его обеда в пользу сирот последние десять лет дают рекордные сборы. Лоты включают значительно переоцененные круизы по Карибскому морю, билеты в оперу, перьевые ручки и подписку на журнал «Яхтенный спорт». Марти как-то подсчитал, что Ланс Корбин, ортопед, у которого и яхты-то нет, платит сто двадцать долларов в месяц за каждый выпуск журнала.

Обеденные столы с букетами лилий и серебряными столовыми приборами накрыты в зале рядом с террасой. По случаю теплой погоды коктейли, шампанское и десерт подадут на террасе, но Марти настоял, чтобы обед проходил в помещении – здесь светлее, а значит, удобнее выписывать чеки. К тому же голландские и фламандские жанровые картины и пейзажи напоминают если не о сиротах, то хотя бы о бедности: крестьянин под дождем заносит окорок в каменный погребок, пьяницы в таверне кидаются ложками в котла, на маленьком полотне Аверкампа краснощекие селяне катаются на коньках по замерзшему каналу^{[3} – ...на маленьком полотне Аверкампа

краснощекие селяне катаются на коньках по замерзшему каналу. – Хендрик Аверкамп (1585–1634) – нидерландский живописец, создатель маленьких зимних пейзажей с пестрыми фигурками конькобежцев.].

Когда Рейчел зовет всех к столу, струнный квартет переходит от сонат Россини к концертам и адажио Баха. Как всегда, Марти и Рейчел сидят за разными столами, чтобы общаться с максимальным числом гостей, но несколько раз во время трапезы Марти замечает, что его жена отрешенно уставилась в свой бокал. Клэй Томас рассказывает свою ежегодную историю, как во время Первой мировой был санитаром, как они с итальянцами играли в футбол на раскисшем весеннем поле. Марти старается всякий раз обновлять состав гостей за столом, но сам всегда садится с Клэем Томасом. Пока его не сделают партнером, он каждый год будет притворяться, будто слышит эти байки впервые.

После обеда и аукциона гости перемещаются на террасу. Длинный стол заставлен бокалами с шампанским, горками с профитролями, формочками с крем-брюле, бельгийским шоколадом. Как и в прошлые годы, Рейчел все важное общение оставляет Марти. Она не умеет включаться в разговоры партнеров Марти или их жен, которые все отправляют детей в одни школы и колледжи, так что предпочитает одиночек. Сестра светской львицы и провинциальная кузина видного филантропа – с такими людьми ей спокойнее всего. Они не спросят: «А вы никогда не думали завести детей?» Марти упрекает ее, что она прячется в собственном доме, ведет неловкие разговоры с совершеннейшими чужаками. Он говорит, что жены партнеров считают ее заносчивой, а не робкой и ранимой. Из угла террасы, слушая обрывки разговора о бродячей собаке, подобранной русскими учеными на московской улице, Рейчел видит циферблат богато украшенных часов на стене гостиной и понимает, что арендованные битники придут меньше чем через полчаса. Она оглядывает гостей, пытаясь угадать, как те примут артистов. Ей до сих пор непонятно, что она пытается сделать: оживить мероприятие или пустить его под откос. Еще не поздно встретить битников у лифта, заплатить условленную сумму и отправить их восвояси.

Похолодало, многие гости сходили за своими плащами или пальто. Раньше, во время коктейля, Марти развел огонь в камине; Клэй и другие партнеры, стоя с бокалами в руках, давали ему советы. В какой-то момент Клэй натянул пару асбестовых перчаток и чугунной кочергой подвинул полешки в центре, объясняя младшим, что нужно больше синего пламени и тяга в основании. Теперь мужчины толпятся у камина, юристы с сигарами, громоздя метафоры, говорят о

философии, упадке городов, выставлении счетов клиентам. За стеклянными дверями официанты на тележках свозят обеденные тарелки к помывочной станции, которую соорудили в бывшем коридоре для слуг сбоку от задних дверей спален. Марти зовет этот коридор «горшечным закоулком» и уверяет, что помнит, как его выжившая из ума бабка-голландка, крепко налегавшая на джин, выставляла туда «ночную вазу», чтобы слуги забрали. Однако никаких слуг не было, только перегруженная работой экономка, которая не ходила этим коридором много лет и не нашла ночных горшков до тех пор, пока вонь не просочилась сквозь стену. Сейчас там больше десятка официантов. Возможно, надо пойти убедиться, что они не пьют из бутылок и ничего не разбили. Но тут Рейчел замечает, что Марти разговаривает с Гестер. После того, как расставили цветы, она сказала Гестер идти отдыхать, потому что та не молодеет. Непонятно, зачем Марти вытащил бедную женщину из ее комнаты.

Гестер идет с террасы в сторону библиотеки, затем возвращается, катя накрытую простыней металлическую тележку, за которой тянутся спутанные провода. К этому времени Марти держит Керреуэя на руках и, судя по лицу, намерен что-то сказать гостям. Несколько бокалов вина, и он превращается в своего отца – готов вещать бесконечно. В тяжелом варианте его речи фальшивы и сентиментальны. На памяти Рейчел слезы выступали у Марти на глазах по куда менее печальным поводам, чем сиротство, и сейчас она опасается худшего. Гости уже собрались вокруг Марти. Из угла террасы звучит адажио Баха, потом резко обрывается.

Марти мгновение смотрит на освещенные дрожащим пламенем лица, оттопыривает нижнюю губу.

– Я хотел бы сказать несколько слов... Спасибо всем, что пришли и поддержали такое доброе дело. Как всегда, мы сегодня собрали вполне приличную сумму.

Держа Керреуэя на согнутой руке, Марти похлопывает его по заду. В свободной руке – сигара.

– Как всем вам известно, на этой неделе в космос запустили первое живое существо, и это путешествие в один конец...

Рейчел берет бокал шампанского с подноса у проходящего официанта и думает: как Марти вывернет от космоса к сиротам? И вывернет ли?

– Мне сказали, что последний паек, который собака съест через несколько дней, отравлен или что будет выпущен усыпляющий газ. Очевидно, так русские поступают со своими собаками-космонавтами...

Голос у него дрожит и обрывается. Некоторые гости отпивают вино, смотрят в камин. Рейчел не знает, отчего они отводят глаза – от неловкости за Марти или от наплыва патриотических чувств.

– И мне невольно думается, не можем ли мы включить нашего маленького бигля Керреуэя в этот исторический момент?

К этому времени Гестер уже принесла из кухни стул, и Марти ласково сажает на него собаку. Затем снимает с тележки простыню – там его любительский радиоприемник из библиотеки с наушниками и хромированным микрофоном.

– «Спутник-два» передает тот же сигнал, что и «Спутник-один», так что, если я найду нужную частоту, мы услышим пролетающую над нами русскую дворнягу. Если верить моим чикагским друзьям-радиолюбителям, сигнал можно будет поймать через несколько секунд...

Марти смотрит на часы и придвигает стул с Керреуэем ближе к микрофону.

– Я дам Керреуэю послушать его соперницу, потому что, честно сказать, ему не помешало бы встряхнуться. Скажу честно – в декабре его еле-еле вытащишь на прогулку в парк.

Слушатели вежливо посмеиваются.

Рейчел смотрит на гостей. Женщины улыбаются, глядя, как Керреуэй обнюхивает микрофон. Мужчины не в таком восторге; они шепотом обмениваются замечаниями. Марти включает приемник, крутит большую ручку посередине. Слышится треск, затем – обрывок новостной передачи из Канады, полька, затем наконец сигнал: булькающее пиканье. Слушать его почти мучительно – лунное бряканье, в котором заключена тихая советская угроза.

– Слышите? – спрашивает Марти. – Это они.

Гости уже подошли ближе. Мужчины смотрят зачарованно, позабыв про сигары у себя в руке. Целую минуту они слушают сигнал. Марти подключает наушники и, прикрутив громкость, надевает их Керреуэю на голову. Бигль недовольно тявкает. Марти говорит, что микрофон выключен: лицензия не позволяет передавать собачий лай со своими позывными, за такое исключили бы из радиолюбительского братства. Однако скоро гости начинают подзадоривать Керреуэя, чтобы тот сказал русской псине пару ласковых. «Скажи, что мы их догоним и перегоним!» – выкрикивает кто-то из партнеров. Марти делает вид, будто включает микрофон, и песик из-за шума и суеты вокруг начинает гавкать и скулить. Наконец Марти угощает его очищенной креветкой с ближайшего стола и отпускает. Все хлопают и восхищаются маленьким патриотом. Марти предлагает тост за освоение космоса и встающую звезду Америки. Обернувшись, Рейчел над ободом своего бокала видит, как на террасу через стеклянные двери входят арендованные битники, за ними семенит возмущенная Гестер. Рейчел воображает растерянность Харта Гановера в нижнем вестибюле, звонок по интеркому, перехваченный Гестер, и вот к ним приближаются битники – ответ Америки на космические устремления России. Свобода – патлатая, босая, без лифчика. Их шестеро – трое мужчин и три девушки. Один из мужчин – поэт-марксист или философ-вегетарианец – явно до глубины души оскорблен тем, что видит на террасе.

Битники держатся ненавязчиво, в самую толпу не лезут – говорят о выставках в заброшенных электростанциях, о лофтах без горячей воды на Томпсон-стрит. Поначалу они вполне милы, и даже Марти вынужден признать, что затея удачная. Девушка в сандалиях потягивает красное вино и танцует перед камином восточный танец. Кто-то из них учит жену юриста танцевать фанданго; квартет импровизирует. Бородатые мужчины в вельветовых куртках завязали беседу с жителями Манхэттена и с живым антропологическим интересом слушают про ритуалы загадочных богатеев. Они льстят и поддакивают, смеются нервным шуткам дантиста. Девушка с сережками в виде драконов обменивается визитными карточками с инвестиционным банкиром, только на ее карточке стоит одно-единственное слово: «Увы!» Целых пятнадцать минут все в восторге от этого изящного салонного фокуса, и Марти подходит к Рейчел сказать, что она замечательно оживила вечер. Но тут он замечает, что один из битников – в красном берете и армейской куртке – захватил в гостиную группу заложников. С террасы видно, что он стоит на старинном стуле, держа фамильную вазу для фруктов перед слегка напуганными слушателями. Марти начинает двигаться в его сторону, но тут на пути у него возникает «Увы» с тарелкой креветок. Почему официанты до сих пор не убрали закуски? Что, если эти бродяги обожрут до

отравления у него на террасе?

- На самом деле меня зовут Хани, - говорит девушка, - и я намерена съесть столько креветок, сколько вешу сама. Вы, наверное, хозяин? Рада знакомству, хозяин.

Она пьяная и босая, в развевающейся юбке, сшитой, судя по виду, из амишских лоскутных одеял. Марти отвечает ей анемичной улыбкой и силится рассмотреть, что происходит в гостиной.

- Чего ради ваш друг взобрался на стул? - спрашивает Марти.

- Бенджи? А он под кайфом. На бензедрине. Расхерачит вашу вазу, если не заберете.

Марти идет в комнату, все у него внутри сжимается. В звуках испанской музыки слышится улюлюканье. Он торопливо проходит в стеклянные двери и сворачивает направо.

- Посмотрите на эту грушу, дамы и трутни, спелую и сочащуюся чувственностью рядом с красным яблоком... она ждет, когда исполнится ее высшее предназначение. - Битник вынимает грушу из вазы и впивается в нее так, что сок брызжет во все стороны.

- Извините, но я думаю, что с нас хватит, - говорит Марти.

Битник дерзко смотрит на него со стула, на бороде блестят кусочки грушевой мякоти. Марти ничего не знает про амфетамины, но буйное помешательство распознать может - зрачки у битника огромные и блестят, как новенькие центы.

- Это главный чурбан? - вопрошает он.

- Я вызову полицию, - говорит Марти.

Он чувствует, как другие гости входят с террасы и собираются у него за спиной поглазеть.

Битник недоверчиво трясет головой:

– Ты за это заплатил, приятель. Ты думал, придут актеришки, выпьют твоего шампанского, почитают стишки про езду автостопом и сон в лесу, а потом мы тихонько уйдем. Ошибочка, амиго. Неверная логика, компадре. Мы теперь гости в этом светском музее и говорим не по сценарию... ваша теневая сторона и демоны, что преследовали вас всю вашу жалкую жизнь, брат. Мы здесь. Приятно познакомиться.

Хани теперь стоит рядом с Марти и уговаривает товарища: «Ну-ну, спокойнее», словно заартачившуюся лошадь.

– Мы оплатили вам такси, – раздается из толпы голос Рейчел. – Мы проводим вас к нему и дадим с собой остатки ужина.

От этих унижительных слов человек на стуле принимается раскачиваться и жестикулировать, словно уличный проповедник, предрекающий скорый Апокалипсис.

– О, вы меня убиваете. Сами жрите свои объедки, леди Макбет. Мы здесь не ради еды и вина... мы здесь, потому что Америка скоро будет сосать хер Дяде Русскому, и мы хотим показать вам вблизи, каков он, розовый коммунистический член...

И тут через толпу протискивается Клэй Томас. Позже Марти вспомнит, что выглядел он не рассерженнее, чем если бы его резко пробудили от дневного сна. Вид у него решительный, но не угрожающий. По пути Клэй снимает смокинг, расстегивает запонки и закатывает рукава, как будто собрался мыть посуду. Но, как бывший принстонский боксер в полусреднем весе, Клэй подвижен и пружинист. Марти собирается спросить его, не вызвать ли полицию, когда обнаруживает, что держит в руках смокинг своего босса. Не глядя на битника, Клэй обходит стул, берет снизу за ножки и наклоняет, вынуждая оратора спрыгнуть на пол. Ваза падает, яблоки и груши закатываются под мебель.

– Что за херня?! – орет битник.

Клэй один раз, сильно, толкает его в грудь.

– Вам всем пора уходить.

Мгновение мужчина в берете стоит неподвижно, глаза – черные колодцы, руки безвольно повисли. Непонятно, что он сделает – огреет Клэя по голове старинной вазой или сбежит в наркотическом ужасе. Хани и другие битники уже в коридоре, умоляюще зовут товарища за собой.

– Полиция выехала, – говорит Рейчел.

Тот задумывается, ворочая мысли в наркотическом тумане. Потом, качнувшись на пятках, уходит вместе с остальными по коридору. Клэй идет за ними по лестнице. Марти по интеркому звонит Харту и просит проследить, чтобы чужаки покинули здание. Убедившись, что они вошли в лифт на двенадцатом этаже, Клэй возвращается. Его встречают аплодисментами. Марти тоже хлопает, но чувствует себя униженным. На его глазах шестидесятилетний начальник вышвырнул битников, словно расходившихся подростков с детского утренника. И что хуже всего, Рейчел заплатила за этот позор – заказала его по телефону, как еду в гостиничный номер.

Клэй стоит рядом с Марти, застегивает запонки. Забирает и надевает смокинг. Замечает:

– Вы приглашаете на обед львов. Иногда они кусаются.

Благородство требует поблагодарить Клэя, но у Марти нет на это сил. Он смотрит, как Томасы идут по коридору. Остальные гости кивают на прощанье и тянутся за Томасами. Рейчел куда-то подевалась, пальто гостям подает расстроенная Гестер. Когда все уходят, Марти мгновение стоит, прислонившись спиной к дверям лифта. Гестер желает ему доброй ночи, и он поднимается по лестнице, потом в темноте на ощупь находит дверь спальни. И только уже раздевшись, стоя голый в свете из ванной, он думает о сегодняшнем дне как о жестоком обмане. Рейчел лежит лицом к стене, притворяется спящей. Стыд бурлит в Марти, пульсирует в сжатых кулаках и стиснутых зубах. Он смотрит на картину, надеясь обрести умиротворение в ее застывшей тишине. Девочка, такая хрупкая, замерла между лесом и замерзшей рекой. Лица и руки конькобежцев красны от холода. Марти смотрит на собаку, которая трусит за мальчиком по льду, и думает о русской дворняге в космосе. Только через много лет он узнает, что собака умерла от перегрева вскоре после выхода ракеты из

атмосферы. Он вспомнит мертвую собаку-космонавта и подделку, висевшую прямо на виду, и остро ощутит свою тогдашнюю немыслимую наивность. Сейчас он замечает лишь, что рама слегка перекошена – правый угол дюйма на два ниже левого. Марти поправляет ее, затем гасит свет в ванной и ложится в постель.

Амстердам – Беркей

Весна 1635 г.

В долгом постепенном разрушении своей жизни Сара постоянно будет возвращаться мыслями к левиафану. Не из-за него умерла Катрейн и случилось все остальное, но он стал предзнаменованием черных дней. Весна, воскресенье, день голубой и безоблачный. Стало известно, что в Беркее, рыбацкой деревушке под Схевенингеном, застрял на песчаных мелях кит. Жители обвязали его веревками и втащили на берег, где он лежит уже два дня, испуская стоны через кожистое дыхало. Его поливают из ведер морской водой, чтобы подольше не издох и ученые успели его как следует изучить. Для мужа Сары, пейзажиста, это редкий случай запечатлеть сцену во всех подробностях. По весне продажи картин выросли, и за эту точно можно будет выручить состояние. Однако по дороге к побережью Сара осознает, что пол-Амстердама отправилось в паломничество к вестнику глубин. У Барента будет куча соперников из числа живописцев, рисовальщиков и граверов. Сара и сама состоит в Гильдии святого Луки, но часто помогает Баренту с пейзажами, растирает пигменты, наносит имприматуру[4 - ...растирает пигменты, наносит имприматуру. – Живопись голландского Золотого века была многослойной. Поверх грунта наносилась цветная тонировка – имприматура, обычно умброй или охрой (иногда тонировали уже сам грунт), дальше мелом или темперой делали эскиз – пропись, по ней наносили подмалевок – первый живописный слой, определяющий композицию, а проработанный подмалевок лессировали прозрачными жидкими красками, причем число лессировок могло приближаться к сотне.]. Морские пейзажи Барента и его сцены на каналах популярны у купцов и бургомистров; за них платят втрое больше, чем за ее натюрморты.

Они едут в соседском фургоне, в ногах – складной мольберт и корзинка с бутербродами. Катрейн семь, и она одета как для морского путешествия:

маленький чепчик, прочные башмаки, компас на цепочке надет на шею. Фургон вслед за вереницей повозок и верховых едет среди заросших травой дюн. Сара смотрит на дочь. Когда Барент рассказал, что слышал в кабачке про левиафана и хочет его написать, личико Катрейн посерьезнело. То был не страх, а стальная решимость. Уже несколько месяцев девочку мучили кошмары, от которых она мочилась в постель, жуткие видения в предутренние часы. «Мне нужно его увидеть», – с жаром промолвила Катрейн. Барент ответил, что это неподходящая поездка для девочки, и сменил тему. Примерно полчаса казалось, что разговор окончен. Потом, за обедом, Катрейн зашептала Саре на ухо: «Больше всего на свете я хочу увидеть, как чудовище умрет». Саре было неприятно, что детские губки произносят такие жестокие слова, но она понимала Катрейн. Чудовище вынесено из глубин Северного моря на берег, где оно умрет у всех на виду, опутанное веревками и канатами. Все ночные кошмары, все демоны и призраки Катрейн, многие месяцы не дававшие ей спать, могут исчезнуть разом. Сара похлопала девочку по руке и вновь принялась за похлебку. Она хотела поговорить с Барентом позже, когда они лягут. И в конце концов он сдался.

Фургон переваливает через холм, за которым открывается берег, и Сара окончательно приходит к выводу, что вся затея – чудовищная ошибка. Издалека кит похож на почерневшую, поблескивающую на солнце звериную шкуру. Его облепили десятки людей, крошечные по сравнению с исполинской тушей. Несколько человек забрались на него с деревянными линейками и ведрами. К подрагивающему плавнику – широкому, как корабельный парус, – приставлена лестница. Покуда фургон катит по песку, сосед, Клаус, говорит, что в бытность моряком видел однажды китовый глаз, заспиртованный в бренди. «Огромный, с человеческую голову, в стеклянном сосуде, вместе с другими капитанскими диковинами с южных широт». Сара видит, как у Катрейн расширяются глаза, и заправляет той за ухо выбившиеся волосы. «Может, устроим с тобой пикник, пока отец пишет?» – спрашивает она. Катрейн, не слушая ее, обращается к Клаусу, который сидит на козлах: «А почему они вот так выбрасываются на берег?» Сосед перекладывает в руках вожжи и задумывается. «Одни говорят, это посланец Всевышнего, оракул. А я думаю, он просто заблудился. Если корабли садятся на мель, почему этому не случиться с рыбой, проглотившей Иону целиком?»

Они привязывают лошадей к обломанному дереву и, забрав вещи, идут по песку к толпе. Раскладывают одеяла, ставят корзинки. Барент расставляет мольберт, устанавливает подрамник. Он просит Сару быть рядом и растирать краски; кроме того, она будет делать собственные наброски, которые пригодятся ему в

мастерской. «Думаю, буду писать от кромки воды, возможно, с головой на первом плане». Сара говорит, что так будет хорошо, а про себя думает, что сцена получится драматичней, если писать ее сверху: огромность стекляннистого моря для масштаба, горожане, муравьями копошащиеся на туше, тени, укороченные полуденным солнцем. Барент еще успеет написать этюд до сумерек и передать эффект садящегося солнца. Однако она знает, что Барент не любит советов, поэтому держит свое мнение при себе.

Покуда он выбирает место – не более чем в дюжине шагов от ближайшего художника, – Сара и Катрейн присоединяются к толпе вокруг туши. Пахнет тухлой рыбой и амброй, тяжелая сладковатая вонь. Катрейн зажимает пальцами нос и крепко держится за Сарину руку. Мужчины в кожаных фартуках с деревянными линейками (на шее у них висят ароматические шарики) недовольно косятся на женщину и девочку. Сара слушает разговоры. Чиновник из Счетной палаты заявил права на кита и выставит тушу на аукцион. Кто-то говорит: «Завтра к полудню на таком солнце чрево страшилища лопнет и распространится гнусный смрад». Жир продадут мыловарам, зубы пойдут на резные изделия, амбру из пищевода отвезут в Париж парфюмерам. Один краснорожий мужчина спорит с коллегой о длине китового неудобь сказуемого – разница в два дюйма при установленной длине в три фута. Спор идет с научным жаром, искомую часть туши называют то уд, то детородный член. Сара смотрит на Катрейн и с радостью видит, что та не слушает мужчин: девочка изучает тушу из-под полей чепца, возможно увлеченная водоворотом собственных ночных видений.

Хвост, шириной с рыболовную сеть, усеян мухами, ракушками и зеленоватыми паразитами. Кит немного свернулся, словно спящий кот, и дочь с матерью, не успев сообразить, как это произошло, оказываются в зловонном закутке перед бурно обсуждаемым трехфутовым органом. Катрейн тоненьким голосом восклицает: «Смотри, у него к животу присосалась великанская пиявка!» Мужчины вокруг грубо хохочут. Сара берет Катрейн за плечи и ведет к китовой голове. Местный житель спрашивает, хотят ли они посмотреть чудищу в глаза, плата три стювера с человека[5 - ...плата три стювера с человека. – В описываемое время основной денежной единицей Голландии был серебряный гульден, равный 20 стюверам.]. Он приставил лестницу к китовой челюсти и вбил основание в песок. Катрейн просительно смотрит на мать. «Ты поднимись, а я лучше посмотрю отсюда, снизу», – говорит Сара. Она платит деньги и смотрит, как Катрейн медленно взбирается по перекладинам. Сара воображает глаз, налитый недоумением, ошеломленное чудище смотрит из черной пещеры собственного черепа и разума. Она думала, что дочь в священном ужасе

заглянет в глубину этого глаза и спустится, навсегда исцеленная от страшных снов. Однако Катрейн поднималась по лестнице так, будто исполняла епитимью. Она долго смотрит из-под руки в глазницу, затем медленно спускается на песок и ничего не говорит об увиденном.

Остаток дня проходит за набросками и этюдами. Сара сидит на одеяле рядом с Барентом, растирает ему краски, подает кисти, смотрит, как он накладывает прозрачные слои зеленого и серого, в которых с изменением света добавляются пунктирные прожилки охры. Есть что-то загадочное и затягивающее в его работе, что-то, чего нет в ограниченном мире ее натюрмортов. Это продолжается несколько часов. Катрейн устроилась рядом со своим альбомом для набросков – страницы заполняются листьями, ракушками, лошадьми. Барент и Сара не хотят оказаться здесь, когда кит наконец издохнет или когда лопнут его внутренности, поэтому договариваются с Клаусом уехать задолго до темноты. Барент старается запечатлеть сцену и свет, насколько удастся; в мастерской он дополнит изображение кита мельчайшими подробностями с набросков Сары. Катрейн носит к воде палочки и цветы. На третий или четвертый раз Сара понимает, что девочка соорудила плотик и аккуратно уложила на него цветущий вереск. Не совсем погребальный костер, но что-то в память о ките, – а может, она надеется таким способом избавиться от своих кошмаров. Упорное суеверие семилетней девочки не перестает изумлять Сару. Шагах в тридцати от них рыбаки спорят о глубоком смысле предзнаменования: ждать ли наводнения, или голода, или Беркей сгорит дотла. «Господь да отвратит зло от нашей возлюбленной родины», – повторяет один из них.

На обратном пути повозок на дороге меньше. В часе езды от Амстердама они останавливаются на окраине деревушки купить еды. Крестьянское семейство выставило у обочины бочки с соленой треской, яблоки, сыр. Родителям помогает торговать тощий мальчишка примерно одних лет с Катрейн. Девочка, осмелев после поездки на берег, просит разрешения самой сделать покупки. Барент дает ей деньги, и она вылезает из фургона с важностью ост-индского торговца. Выбирает яблоки и куски сыра. Крестьяне, залюбовавшись на деловитую маленькую покупательницу, поручают сыну завершить сделку. Забавно видеть, как двое семилетних детей торгуются, точно взрослые, и даже спорят, какие яблоки вполне спелые. Сара смотрит из фургона. Смущают только больные глаза мальчика, чуть желтоватые и сонные. Руки у него вымыты, одежда чистая. И все равно Саре запомнились его глаза.

Эти мгновения она будет вспоминать, когда через три дня Катрейн сляжет с лихорадкой. К тому времени Барент напишет всю сцену с китом в мельчайших подробностях – от мелких зубчиков цвета слоновой кости в пасти чудовища до кожаной шнуровки на куртке рыбака. Катрейн умрет быстро, на четвертый день, ногти у нее почернеют, кожа покроется волдырями. Сара будет смотреть, как единственный ребенок, данный ей Богом, тает и уходит. Барент, охваченный горем, возвращается к картине. Он работает над ней несколько месяцев кряду, добавляя фигуры и действия, которых они не видели. Она становится настолько мрачной и зловещей, что никто не хочет ее покупать. На исполинской голове кита спиной к художнику стоит человек в капюшоне, врубаясь топором в черную тушу. Небо – свинец и смальта. Сара не пишет совсем, пока не приходит зима и каналы не покрываются льдом. Как-то синим вечером она видит девушку, бредущую по заснеженной роще над замерзшим Амстелом. Что-то в освещении, в девушке, выходящей из лесу, пробуждает желание вернуться к холсту. О натюрмортах почему-то невозможно даже думать.

Бруклин

Ноябрь 1957 г.

Раннее утро. Девушка в рабочей блузе растирает пигменты и варит на плите животный клей. В тысяча шестьсот тридцатых, насколько знает Элли Шипли, размер холста определялся шириной голландского ткацкого станка – чуть больше пятидесяти четырех дюймов. Она читает при свечах, словно актер, входящий в роль по системе Станиславского, покупает материалы, которыми равно пользуются реставраторы и авторы подделок. Льняное масло холодного отжима, которое не мутнеет, лавандовое масло, натуральная сиена, свинцовые белила, которые месяц томятся в парах уксусной кислоты. Пишет Элли в кухоньке-гостиной, где в мрачное окошко льется северный свет и виден поток машин на скоростной автомагистрали Гованус. Автобусы везут жителей пригородов на работу – металлические ленты с рядами лиц. Иногда Элли гадает, остается ли на сетчатке у пассажиров за стеклом образ ее простенькой студии. Мысленными очами они видят ее у плиты и думают, будто она готовит себе овсянку, а не вываривает кроличьи шкурки.

Сами запахи ограничивают ее общение – атмосфера окислов и мускуса. Квартирка Элли расположена над прачечной самообслуживания, и здесь собственный климат: тропический муссонный в рабочие часы и прохладный аридный по ночам. На потолке темнеют разводы, угол над кроватью флуоресцирует изящным кружевом плесени. В последний год работы над диссертацией в Колумбийском университете Элли никого не приглашала к себе за все время, что живет в этой квартире. Стоило бы, наверное, поселиться ближе к университету, но от прежнего жильца, выросшего в Бруклине студента, ей досталась в наследство до смешного низкая арендная плата. Хотя ездить отсюда долго, она так и не собралась перебраться на Манхэттен. В письмах родителям в Сидней Элли пишет, что живет в Гринвич-Виллидж, и опускает конверты в почтовый ящик по пути к университету. Она пишет про клубы, рестораны и выставки, которые на самом деле не посещала, черпая яркие подробности из обзоров в «Нью-Йоркере». Ее отец – капитан парома в Сиднее, мать – школьная секретарша, и Элли до сих пор не понимает, зачем все это пишет: то ли мстительно напоминает родителям, насколько убога их собственная жизнь, то ли фантазирует о том, что ей недоступно. Она совершила половину кругосветного путешествия, чтобы прозябать в нищете ученой-затворницы. Ее диссертация о голландских художницах Золотого века лежит в квартире недописанная, отпечатанный до середины лист плесневеет в пишущей машинке «Ремингтон». Элли не занималась ею уже несколько месяцев и порой, глядя на бульдожий профиль машинки или на хромированную каретку, думает: «“Ремингтон” выпускает еще и ружья».

Несколько лет назад она в качестве приработка начала консультировать по вопросам реставрации. Элли всегда хорошо разбиралась в технической стороне живописи, и это были легкие деньги. До занятий историей искусств в Нью-Йорке она училась в Лондоне в Институте Курто как раз на реставратора. Однако, хотя Элли была самой молодой и талантливой в группе, хорошие места в музеях доставались однокурсникам постарше, молодым людям с оксбриджским выговором, носившим связанные косами кардиганы. То, что она австралийка, тоже не облегчало устройство на работу. Музейные кураторы смотрели на нее как на яркую искорку из колоний. Максимум, на что она могла рассчитывать, – место преподавателя или реставратора в маленьком провинциальном колледже. Так что накануне двадцать первого дня рожденья Элли сменила Англию на Америку, а реставрацию – на историю искусств (на этой кафедре были две преподавательницы-женщины). На третьем году работы над диссертацией, после экзаменов, научная руководительница – Мередит Хорнсби, специалистка по голландскому Золотому веку, – начала подкидывать Элли работу по реставрации. Хорнсби одобряла Элли за то, что та, единственная из ее

аспиранток, писала не про итальянское Возрождение. Британский торговец картинами по имени Габриель Лодж искал человека, который удостоверит бы подлинность старых полотен и реставрировал их по мере надобности.

Они несколько раз встречались в кафе за чаем, и Габриель попросил ее показать фотографии реставрированных ею работ. Бывший лондонец, бывший сотрудник «Кристис», он носит мятый бежевый костюм и ходит с потертым атташе-кейсом, который мог бы в прошлом принадлежать послу. Вид у него неуклюжий, растерянный, но, задавая вопросы, он пристально смотрел Элли в лицо. За чашкой «Эрл Грэя» он экзаменовал ее по рецептам грунтов и лаков, количеству нитей по утку и основе на барочных полотнах. Он гудел себе под нос и кивал, разглядывал принесенные ею фотографии через лупу. Видимо, проверку чаепитиями Элли прошла, потому что недели через три Габриель приехал к ней с поврежденной картиной семнадцатого века.

Иногда картины приезжали к Элли, иногда Элли к ним. Она подписывала соглашение о неразглашении, и автомобиль с шофером доставлял ее к частному собранию в городе, на Лонг-Айленде, в Коннектикуте. Она просиживала дни в чрезмерно пышных комнатах, с деревянным ящичком, в котором лежали пигменты, масла и кисти, восстанавливая квадратный дюйм полотна сообразно манере и палитре художника. Или курьер доставлял ей на дом голландский либо фламандский портрет в плохой сохранности, и она неделями реставрировала его: перетягивала покоробленный холст, укрепляла грунт и красочный слой. Иногда ей платили сотни долларов за день работы, но тратить эти деньги у Элли не получалось. Поскольку она охотно работала бы и бесплатно, они казались полученными нечестным путем. Кроме того, деньги воспринимались как ощутимая компенсация за те годы, когда мужчины-преподаватели в Институте Курто ее недооценивали. Потратить их значило бы утратить это чувство.

К тому времени, как Габриель поручил ей работу над картиной «На опушке леса», Элли скопила почти десять тысяч долларов, так что, строго говоря, в деньгах не нуждалась. Габриель сказал, что нынешний хозяин хочет получить копию, но не находит в себе сил даже на время расстаться с оригиналом. Она ответила, что копирование и реставрация – два совершенно разных дела. Однако, когда Габриель показал качественные цветные снимки картины в раме, у Элли перехватило дыхание. Это не походило ни на одно творение барочной художницы. Зимний пейзаж с желтовато-сизой атмосферой Аверкампа, тончайшими оттенками серого, голубого, охры, конькобежцы в эфире сумерек надо льдом, но с четкой одинокой фигуркой у дерева. Девочка была зрителем и

в то же время фокальной точкой, центром тяжести. Не деревенские забавы на исходе дня – типичный мотив Аверкампа, а зачарованный миг, девочка, застывшая в вечности сумерек. Она была написана очень тонкой кисточкой, размахившийся подол состоял из сотен мазков, каждый шириной в половину человеческого волоса. Атмосфера картины, даже на фотографии, была лучистая, приглушенная. Она каким-то образом совмещала молитвенный, религиозный свет монастырского портрета и характерность итальянской аллегии.

Габриель продолжал говорить, пока Элли изучала снимки, медленно описывая взглядом крохотные круги. Ощущение было, как в двенадцать лет, когда она впервые увидела Вермеера на выставке, куда их привезли с классом: как будто ее всю пронзил прекрасный меланхолический свет, который теперь с ней навсегда. Габриель рассказал, что Сара де Вос – первая женщина, принятая в Гильдию святого Луки, и более того, это – ее единственная сохранившаяся картина. Из-за того, что полотно всегда было в частных руках, в мире ценителей живописи оно заняло маленькое, но культовое положение. За прошедшие века очень немногие искусствоведы его видели или хотя бы знали о его существовании. Теперь Элли может разглядеть все удивительные детали на снимках и изыскать способ сделать копию. «Небывалая честь», – сказал Габриель. Общеизвестно, что в семнадцатом веке голландки не писали пейзажей – для этого требовалось бы много часов сидеть одной на улице, что для голландской хозяйки дома было невозможно. Сара де Вос – единственное исключение. У этой художницы, писавшей натюрморты, сохранилась одна картина – призрачная сцена на реке. Ее отец и муж были пейзажистами, так что она всю жизнь провела рядом с картинами этого жанра. Очевидно, Габриель подготовился к разговору, возможно, даже отрепетировал монолог по пути в Бруклин – очередной пассажир, бубнящий себе под нос в метро. Суть его речи сводилась к тому, что «На опушке леса» – этапное произведение огромной исторической ценности, и Элли просят сделать точную копию для законного владельца. Она ответила, что подумает, но на самом деле мысленно согласилась в тот миг, когда увидела фотографии.

Один из снимков был сделан спереди и чуть сбоку, с расстояния футов восемь. На последнем была девочка у дерева крупным планом. Очевидно, снимал опытный фотограф. Четкость и резкость подразумевали штатив, да и цветная пленка стоила очень дорого – обычному любителю она была бы не по карману. Вероятно, кто-то, знающий, что в косом свете текстура картины будет виднее всего, дал фотографу очень четкие инструкции, как снимать.

Точные размеры рамы и полотна были написаны карандашом на обороте первой фотографии. В идеале картина занимала бы весь снимок, но почему-то фотограф не приблизил ее, так что в кадр попало изголовье красного дерева и две подушки в наволочках пастельных тонов. По-видимому, снимали с изножья неубранной двуспальной кровати в первой половине дня, тени заставляли предположить косой зимний свет. Элли надо было сосредоточиться на композиции, текстуре, колорите, а она почему-то пыталась извлечь все возможные сведения о владельцах. Кто повесил у себя над кроватью этот прекрасный меланхолический пейзаж? Взгляд Элли вновь и вновь привлекали вмятины на подушках. Она не сомневалась, что с правой стороны спит муж – там вмятина была глубже, от более тяжелой головы. Именно этот неожиданный человеческий элемент придавал всей затее вуайеристский оттенок. Элли вторгалась в частную, домашнюю жизнь.

В ту первую неделю она подолгу ходила взад-вперед босиком в тропическом климате своей квартиры, дожидаясь, когда решение сложится в голове. Ей просто платят за то, чтобы воспроизвести картину, в подробности своих операций Габриель ее не посвящает, и вообще, коллекционеры по всему миру заказывают копии шедевров из своих собраний по соображениям безопасности. Часто именно копия висит в снятой на время тосканской вилле или парижской квартире. В любом случае Элли тут сбоку припека и ее дело сторона. Она – наемный реставратор. В этом она себя убедила. Потом как-то ночью проснулась от нестерпимой головной боли и, голая, пила воду в темной кухоньке. Зайдя в ванную и надев халат, она вернулась и включила настольную лампу. Аккуратно откнопилла первую фотографию от мольберта, положила на чертежный стол и макетным ножом отрезала нижнюю часть снимка – ту, что с подушками, изголовьем и плюшевыми обоями. Работа началась.

Задача, как сделать и состарить копию, походила на дом с множеством коридоров, как ярко освещенных, так и непроглядно темных. Элли разыскала у торговца картинами более широкое, сильно поврежденное голландское полотно семнадцатого века, с тем чтобы обрезать его по размеру и отскоблить до грунта. До этого она много экспериментировала с рецептами барочных животных клеев, пытаясь добиться нужной фактуры, прежде чем поняла, что лучше всего будет раздобыть полотно примерно того же времени и сохранить нижние слои.

У нее сложились хорошие отношения с хозяином антикварной багетной мастерской в Лексингтоне; он часто сообщал ей, когда известный торговец привозил ему что-нибудь для замены рамы. Предлогом всегда был ее растущий реставрационный бизнес либо возможность увидеть картины, которые никогда не выставляли публично, но, когда Элли приехала с эскизами рамы, она сразу почувствовала сомнения Мориса. «Где сама картина?» – спросил он. Элли ответила, что замеры и нарисованный от руки поперечный разрез точны, а подрамник в раму она сама вставит и зафиксирует. Морис глянул на нее с подозрением. Элли вытащила копию с первой фотографии – саму картину внутри рамы она заранее вырезала бритвой. Морис взял снимок, и через прямоугольное отверстие Элли увидела его моргающие глаза за стеклами очков. «Клиент никому не позволяет смотреть на саму картину, – сказала Элли. – Я подписала бумаги». Француз с обиженным видом опустил фотографию, но наконец сказал, что может подобрать позолоту и профиль. Сара добавила: «Картина голландская, тысяча шестьсот тридцатых годов, а рама на вид более поздняя. Восемнадцатый век?» Морис развернул фотографию к свету: «Тысяча семьсот девяностые, парижский стиль. Хотя, похоже, на позолоте сэкономили».

В семнадцатом веке голландцы создавали картины так же, как строили корабли, – этап за этапом, и каждый прорабатывали очень тщательно. Проклейка, грунтовка, имприматура, пропись, подмалевок, лессировки. Барсучья кисть, чтобы чуть смягчить контуры. Некоторые художники ждали год, чтобы масляные краски высохли, и только потом наносили смоляной лак. Проблемы голландской художницы стали проблемами Элли – как получить устойчивые оранжевые и зеленые тона, как изобразить фиолетовый, лессируя синим по красновато-бурому подмалевок. То, что она не знала о технике Сары де Вос, Элли изобретала, исходя из своих знаний о других голландских художниках того времени.

В качестве дополнительной меры она прошерстила немногочисленные, но источающие злобу книги о подделках в живописи. Это был приятный способ отложить работу над диссертацией в Справочной библиотеке Фрика, где Элли месяцами вглядывалась в голландские картины на черно-белых репродукциях размером три на пять дюймов. В библиотеке Колумбийского университета она сидела в кабинке в книгохранилище и читала мемуары и манифесты фальсификаторов, бросающие вызов снобам от искусства. Они захватывали ее и порой вгоняли в краску, как будто она читает Камасутру, а не советы, как обмануть аукционные дома, и рецепты старинных левкасов.

Найдите в аукционных домах старые поврежденные рамы и отследите номер лота или другие пометки. Выясните в аукционном доме, какая картина была в раме и что на ней изображалось. Эти сволочи хранят подробнейшие записи.

Ван Меегерен добавлял в свои краски бакелит[6 - Ван Меегерен добавлял в свои краски бакелит... - Хенрикюс Антониус ван Меегерен (1889-1947) - нидерландский живописец, прославившийся подделкой картин Яна Вермеера и Питера де Хооха. Его подделки продавались за рекордные суммы; в частности, свою картину «Христос и судьи» он продал Герингу под видом Вермеера более чем за полтора миллиона гульденов. После войны ван Меегерен предстал перед судом по обвинению в коллаборационизме и распродаже национального достояния и предпочел сознаться в подделках, чтобы получить меньший срок. До сих пор в крупных музеях висят картины, в которых подозревают его подделки.], чтобы их состарить. Так был изготовлен фальшивый Вермеер, которого он продал Герингу.

В текстах этих блистательных, но зачастую непризнанных художников она узнает собственные обиды. Ее родители до рождения двух девочек, Элли и ее старшей сестры, потеряли сына. Задолго до Института Курто, где ее упорно не замечали, и одиночества в католическом художественном пансионе был дом, полный тишины. Отец, когда не водил паром через Сиднейский залив, сидел на маленьком кече, пришвартованном на реке Парраматта. Каждый вечер он уходил в док позади их обшитого вагонкой дома в Балмейне, оставляя дочерей делать уроки, а жену - мучиться мигренью (у нее постоянно болела голова от перемены погоды). Там он проводил почти все ночи. Из окна спальни Элли видела, как покачивается над водой огонек его каюты. Неудивительно, что в пансионе она всячески старалась привлечь внимание не монахинь, а священников. Она рисовала отцу Барри, своему учителю живописи, сложнейшие мифические пейзажи с розоватыми отблесками на вершинах гор, райскими лесами и реками в теснинах. Ни один из них даже отдаленно не напоминал Австралию. Свет и древесные кроны были отчетливо европейскими, несмотря на то что она никогда из Австралии не выезжала, - все это было почерпнуто из альбомов по искусству и цветных слайдов. «Родина предков у меня в крови», - говорила она отцу Барри. А по выходным крала в ближайшем «Вулвортсе» губную помаду и батарейки, запихивая их под резинку колготок. Когда на выпускном ей вручали медаль за живопись, она шла через сцену к отцу Барри с тихим мстительным торжеством; потом неосторожно глянула в зал и увидела, что мать сидит одна.

Живописные слои со старого полотна она снимала разбавленным растворителем, вода тампоном маленькими кругами, по дюйму за раз. Старый лак сохраняла, выжимая тампон в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. На очищенный холст она наложила тонкий слой нового грунта, но сохранила фактуру оригинала. Затем провела контуры мелом, прежде чем нанести имприматуру натуральной умброй с добавлением черного. Собственно живопись была медленной и выматывающей – неделя на лес, неделя на небо, две недели на замерзшую реку и конькобежцев. Каждый слой ставил новые технические задачи. Ярко-желтые крапинки на шарфах у конькобежцев имели странную текстуру, и Элли в конце концов решила добавить в хромовую желтую немного песка. После прозрачных лессировок она неделю обесцвечивала картину под ультрафиолетовой лампой, потом еще месяц продержала в котельной своего дома. Мелкую сетку кракелюров она наносила сзади, катая по полотну мягкий резиновый мячик. Потом из пульверизатора покрыла картину сбереженным старинным лаком. Торговцы для проверки светят на полотно ультрафиолетом: старый окисленный лак сильно люминесцирует. Это голубовато-белое призрачное свечение приобретает за много столетий.

К тому времени, как в ноябре к ней приходит Габриель, Элли уже не может себя обманывать: она понимает, что изготовила фальшивку. Примерно через месяц после начала работы над картиной Габриель стал упоминать сделку и организаторов, а дальше уже несложно было прийти к очевидному выводу. Элли думает, что Габриель по-прежнему занимается и легальными сделками, однако у него есть побочный нелегальный бизнес, вероятно более выгодный. Она подозревает, что с самого начала знала, за что берется, но каким-то образом отсекала собственные моральные возражения вместе с нижней частью фотографии. Вместо них наружу вырвалось жгучее желание в точности воспроизвести малейшие детали, установить связь с женщиной, написавшей это навязчивое видение.

Габриель стоит в дверях со свертком в оберточной бумаге – по форме это должна быть картина. В другой руке у него потертый атташе-кейс. Элли раньше думала, что Габриель носит с собой досье и меморандумы, но оказалось – всего лишь запасной носовой платок, яблоко, роман в мягкой обложке, текущую авторучку и поцарапанную лупу.

– Где лошади? – спрашивает Габриель.

- Не понимаю.

- Пахнет, как на фабрике, где делают казеиновый клей. Можно войти? У меня тут кое-что, думаю, вам интересно будет взглянуть.

Она отступает от двери, и Габриель заходит в квартиру. Из прихожей можно попасть в кухню-гостиную и в жилую комнату, и Габриель замирает между проемами. Он опасливо смотрит на книжный шкаф во всю стену, потом заглядывает в кухоньку, заставленную банками и формочками для льда с красками и маслами.

- Сделать чай? - спрашивает Элли, поправляя очки на переносице.

- Только если пообещаете, что не отравите меня.

- Никогда в жизни.

- А у вас есть «Эрл Грей»?

- Я начала покупать его специально для вас. Только он в пакетиках, пойдет?

Габриель улыбается:

- Один раз потерплю.

Он ставит раму и атташе-кейс на пол.

Три автобуса проносятся по магистрали - скользящие прямоугольники света на занавесках. Рев их моторов оглушает, и Габриель зажимает руками уши. В его манерах есть что-то детски обезоруживающее: мальчик, позаимствовавший одежду и ужимки у суетливого дядюшки. Элли от плиты смотрит на прямоугольный предмет в оберточной бумаге. Задние конфорки предназначены для еды и чайника, на передних она разогревает химикаты и варит клейстер.

- Как все прошло? - спрашивает она и тут же жалеет, что не отложила вопрос на после чая. Ей не хватает опыта и такта в этой игре, где ничто не говорится прямо.

Габриель делает вид, будто не услышал.

- Мне один кусочек.

- Знаю.

Элли наливает кипяток в две неодинаковые кружки, кладет Габриелю кусок сахара. Ей случилось применять чай для тонировки, и сейчас, размешивая сахар, она думает о танине. Когда она входит в жилую комнату, Габриель уже сидит за пластиковым столом. Атташе-кейс и раму он поставил у ног.

Элли ждет, когда чай настоится.

- Итак? - спрашивает она.

- Я сам в сделке не участвовал. Предоставил это организатору. - Он дует на кружку. - Но очевидно, все прошло успешно.

- Хорошо, - говорит Элли. Он раньше упоминал курьеров и организаторов - надо полагать, первые работают на вторых.

Габриель вынимает из кейса платок и вытирает лоб.

- Вам стоит задуматься о выращивании орхидей. За то время, что я тут сижу, мои ботинки покрылись тропической плесенью.

- Да, квартира не идеальная.

Некоторое время оба молча пьют чай.

- Вы покажете мне, что у вас в оберточной бумаге?

- Вы провели тысячи часов над одной картиной, но не можете спокойно допить чашку чая.

– Это что-то, что надо реставрировать? – Слово «реставрировать» кажется теперь исполненным тайного смысла.

– В ближайшее время – нет. – Он смотрит на завернутую картину. – Мы надеемся поддержать ее у вас несколько дней. Я скоро арендую новое хранилище в Челси, но сейчас мне некуда ее поместить. Долгая история. Так или иначе, не думаю, что кто-нибудь станет прочесывать эту часть Бруклина в поисках малоизвестного голландского шедевра.

Элли держит кружку в дюйме от губ, не пьет. Ей хочется спросить, что значит «мы»: существует ли теневой партнер, некий латиноамериканский или европейский финансист, или это манера говорить о себе во множественном числе, которую Габриель почерпнул из дешевых детективов. Однако мысль мгновенно меркнет от наплыва более сильного чувства.

– Можно мне ее посмотреть? – Элли раздражает просительный тон в собственном голосе, так что она просто берет картину и кладет на стол.

– С Новым годом, – произносит Габриель и отхлебывает чай.

– Я беспокоюсь из-за влажности. У меня в квартире парник.

– Она тут долго не пробудет. Возможно, стоит держать ее завернутой в шкафу.

Элли ставит раму на бок и начинает отклеивать скотч, аккуратно, чтобы не порвать оберточную бумагу. Сняв первый лист, она чувствует смоляно-солоноватый запах старого дерева. Габриель убирает со стола кружки и журналы по искусству, встает рядом с Элли. Она кладет картину лицевой стороной вверх и отходит к стене включить люстру. Комнату заливают свет, Габриель моргает. Элли возвращается к столу и наклоняется совсем низко, разглядывает картину с расстояния в несколько дюймов. Так она всегда изучает новую работу. Оценить композицию с расстояния десять-двенадцать футов – это успеется. Сперва она хочет увидеть топографию, пастозность, бороздки, оставленные соболиной кисточкой. Случайную угольную или меловую линию, проглядывающую из-под трехсотлетних лессировок. Ей случалось английской булавкой проверять пористость краски, а потом пробовать острие на вкус. Поскольку старые грунты содержали гипс, клей и что-нибудь съедобное – мед, молоко, сыр, – у Золотого века есть отчетливый сладкий или творожистый вкус.

Элли всегда начеку, чтобы не попробовать кобальт или свинец.

Затем она мысленно сопоставляет собственные слои и линии с тем, что видит перед собой, – как бы прокручивает весь процесс создания картины в обратном порядке. Это как раздевать женщину, думает она, аристократку, укутанную в ярды кружева. Есть кое-какие импровизации и влияния, которые Элли не угадала по фотографии. Небо, например, больше похоже на рембрандтовское, чем она думала. И в совершенно неожиданных местах краска выпирает комочками и чешуйками.

– Как у вас получилось? – тихо спрашивает Габриель у нее за плечом.

Элли выпрямляется и понимает, что надолго задержала дыхание.

– Если не повесить их рядом и не разглядывать с расстояния в три дюйма, разницы никакой.

Она смотрит на грубоватые желтые шарфы конькобежцев. Что-то в них цепляет ее мысль.

Габриель разглаживает складку на рукаве:

– Ладно, оставляю вас, голубков, наедине.

Он берет кейс со стола, щелкает замками. Сегодня вместо сморщенного яблока и шпионского романа там лежит конверт, который Габриель достает и протягивает Элли.

Она отказывается брать деньги в руки. Тогда он деликатно кладет конверт на стол и направляется к двери. Элли слышит его осторожные шаги в полутемной прихожей и ждет, когда они затихнут. Долго-долго она смотрит на картину, потом относит ее в спальню и ставит на комод. Несколько часов, до самого сна, Элли разглядывает полотно, зачарованная девочкой в сумерках и заледенелой рекой, которая вспыхивает белизной и серебром всякий раз, как по автомагистрали проносится машина.

Амстердам

Зима 1636 г.

Вообще-то, она должна писать тюльпаны, но каждое утро после завтрака, когда Барент уходит, Сара поднимается в свою мастерскую на чердаке и вынимает из ниши в стене другую картину. В этой самой комнате испустила последний вздох Катрейн, здесь у нее почернели ногти и свет в глазах потух. Всего за четыре дня ее тельце истаяло и сделалось почти невесомым. Его закутали в саван, примотали веревками к кровати, затем кровать вместе с телом спустили на канате, перекинутом через грузовой брус, и увезли в закрытом фургоне. Прошел уже почти год, но и теперь всякий раз, как Сара входит на чердак, у нее перехватывает горло. С полчаса, до того, как работа упорядочит мысли, она чувствует себя потерянной, лишенной ориентиров, – расхаживает по чердаку, сцепив руки за спиной, ропщет на Бога.

Затем Сара принуждает себя к работе. Сегодня она ставит подрамник с натянутым холстом на мольберт у окна, рядом с цветочным натюрмортом. Садится на табурет спиной к большому двустворчатому окну, смотрит на застывший зимний пейзаж. Река и небо кажутся ей слишком бледными. Хочется добавить более глубокого тона и цвета, чего-то за всей этой белизной. Сара нанесла на весь холст имприматуру из умбры и сажи, но теперь думает, что слой надо было сделать плотнее. Снег, написанный свинцовыми белилами, кажется равномерно холодным и одинаковым. Сара разглядывает участки картины возле девочки у березы. Иногда она подозревает, что пишет аллегорию перехода дочери от живых к мертвым, девочку, вечно бредущую по снегу. Это кажется невыносимо сентиментальным даже для нее самой, но она каждый вечер лежит без сна, слушает потрескивания и скрип старого деревянного дома и мысленно исследует собственные мазки, словно принципы некой непостижимой восточной философии. Загадка живописи и света пугает Сару, но вместе с тем и гонит прочь неблагоприятное отчаяние. Иногда Сара по нескольку дней кряду думает только о картине.

Из окна дует в спину. Сара встает с табурета и готовит палитру на сегодня, смешивая пигменты и масла в мисочках и каменных ступках. Свинцовые белила, смальта, желтая охра, немного азурита. Призрачно подсвеченные облака – солнце как свеча в конце сумеречного коридора – образуют купол над всей сценой. В это утро она собиралась еще разок пройтись по небу и снегу, добиться

нужного оттенка, но ее взгляд вновь и вновь останавливается на лице девочки. Та отчасти похожа на Катрейн – высокие скулы и лоб, зеленые глаза, – но все же отличие так велико, что Сара боится, уж не забыла ли она, какой была дочь. Как получилось, что нет ни одного портрета, только набросок углем, ничуть не передающий суть Катрейн? Сара писала бесчисленные натюрморты и даже строгие свадебные портреты в годы ученичества, но никогда – Катрейн. Ей ни разу не пришло в голову заказать портрет дочери кому-нибудь из знакомых. Она сглатывает, стоя перед холстом, закрывает глаза. Видит лицо Катрейн лет в пять-шесть, когда та сосредоточенно отправляет в плавание по каналу деревянный башмак. Видит ласковую улыбку, с которой та укладывает спать куклу. Саре страшно, что эти воспоминания поблекнут и пропадут, что однажды утром она проснется, помня лишь запах влажных волос Катрейн на берегу моря.

Несколько часов она экспериментирует с глазами на отдельных кусках натянутого холста. Друг ее отца, портретист, говорил, что не спит ночами, думая, как передать освещенные веки. Теперь Сара понимает почему. Написать отраженный свет в глазнице и основании носа несравненно труднее, чем отблески в зрачках. Порой Саре кажется, что в этих зеленых глазах заключено все утраченное, как будто она запечатлевает в их миниатюрном мирке все краткое пребывание Катрейн на земле.

Барент надеется вылезти из долгов на волне тюльпаномании, безумия, прокатившегося по стране, словно моровое поветрие. Он хочет, чтобы Сара написала три одинаковые композиции – вазу с тюльпанами в кружевной тени. Их можно будет продать по весне, когда из земли покажутся первые желтые головки. После нескольких месяцев, потраченных на пейзаж с левиафаном, который так и не удалось продать, Барент начал сбывать в кабаках быстро намалеванные неподписанные пейзажи. В гильдии узнали о незаконных продажах, оштрафовали обоих и приостановили их членство до выплаты штрафа. Известие о скандале распространилось, как яд, и теперь ни он, ни она не могли найти платных учеников. В отчаянии Барент устроился к переплетчику и писал теперь ночами, при свече. Каждый вечер он возвращался домой, пропахший бумагой и клеем, и принимался излагать новые грандиозные планы. За обедом, когда он вещает о состояниях, сделанных на спекуляции тюльпанами, Сара слышит в его голосе непривычные нотки, крикливые интонации уличного торговца. Он рассказывает легенды о луковицах, переходивших из рук в руки десять раз на дню, о человеке, отдавшем двенадцать акров земли и четырех волов за одну луковицу «Семпер Августус»[7

- Он рассказывает легенды о луковицах, переходивших из рук в руки десять раз на дню, о человеке, отдавшем двенадцать акров земли и четырех волов за одну луковицу «Семпер Августус». - «Семпер Августус» - самый знаменитый, редкий и дорогой цветок эпохи тюльпаномании, с ярко-алыми прерывистыми «языками пламени» на острых белых лепестках. Редкость пестрых тюльпанов определялась тем, что такая окраска - не наследственный признак, а, как узнали только в XX веке, результат вирусного заболевания. Таким образом выращивание тюльпанов превращалось в лотерею, к которой добавлялся азарт игры на бирже - продавались и перепродавались не только луковицы, но и фьючерсы на тюльпаны будущего года и расписки на эти фьючерсы, что привело к возникновению в 1636 году «биржевого пузыря», который в феврале 1637 года лопнул, и цены упали в двадцать раз. После этого многие сорта, в том числе «Семпер Августус», были безвозвратно утрачены.]. О фламандской шлюхе, которая берет плату луковицами, цветами и семенами. Соединенные провинции теперь вывозят даже больше тюльпанов, чем прежде, рассказывал Барент, - эта статья экспорта уступает лишь йеневеру, селедке и сыру[8 - ...эта статья экспорта уступает лишь йеневеру, селедке и сыру. - Йеневер (можжевельная водка, голландский джин) - крепкий спиртной напиток, получаемый перегонкой ячменного солода и ароматизированный ягодами можжевельника и другими пряностями. До того как англичане заимствовали эту идею и стали гнать свой джин, Голландия была основным его экспортером.]. Затем идут рассказы об ост-индских торговцах и харлемских прачках, которые разбогатели на цветочной бирже и теперь живут в каменных домах у моря.

Поделившись этими историями, Барент спрашивает, как там натюрморты с тюльпанами. Сара врет, будто работа продвигается быстро. Она помнит про долги, но, по правде сказать, разлюбила цветы. К тому же ей не по душе, что каждый корабел и трубочист в Нидерландах теперь хочет торговать тюльпанами и приобретать картины. Цветы их обогатят, картины докажут всем, что у них хороший вкус. По большей части они скупают живописные полотна, как столы и стулья. Лишь немногие, бургомистры из Делфта и заграничные дипломаты, ценят сами произведения.

Как-то вечером Барент приходит к ужину с конвертом и протягивает Саре цветной рисунок «Семпер Августус».

- Поскольку они зацветут лишь через несколько месяцев, я написал ботанику в Лейден. Университетскому профессору.

Сара изучает рисунок в круге света от фонаря, Барент тем временем читает письмо.

- Сможешь написать их по рисунку? - спрашивает он.

- Да, наверное.

- Он говорит, полоски, похожие на языки пламени, называются «очищение».

- Они стараются придумать такие слова, чтобы это казалось важным и благородным. - Сара откладывает рисунок и принимается за бобовую похлебку.

- Он говорит, что может за плату прислать нам детки. Дочерние луковицы расцветают через год, а не через семь, как выращенные из семян.

- Значит, он тоже хочет разбогатеть на тюльпанах, - говорит Сара, однако слово «дочерние» что-то зацепило у нее в голове.

Она видит Катрейн в кровати на чердаке, видит ее бледные шевелящиеся губы. Усилием воли она возвращается к яви и видит, что Барент перечитывает письмо в свете очага. Он сидит, закутавшись в халат, и в отблесках горящего торфа его лицо кажется еще более худым. Всю зиму в доме было невыносимо холодно. Сара шутит, что он ложится спать в семи жилетах и девяти штанах, что она уже забыла, как выглядит его естественный силуэт.

Барент дочитал письмо и кладет его между страницами переплетенной в кожу амбарной книги. В эту книгу он записывает деньги за каждую проданную картину. Всякий раз он напоминает Саре, что она не должна ставить на картинах свое имя или даже инициалы. Картины хранятся на чердаке в ожидании весенних ярмарок или частных продаж, которые начинаются, когда дни становятся теплее. «Голландцы не покупают картин, когда им холодно» - одна из аксиом Барента. Все картины будут продаваться анонимно - застигнутый штормом корабль, поле в сумерках, ее тюльпаны. Каждое полотно завернут в войлок или старое одеяло и продадут где-нибудь в трактире или на рынке. Сара сидит, поставив ступни на жаровенку для согревания ног, и гадает, сколько еще наскоро намалеванных, неподписанных картин им предстоит продать, чтобы освободиться от долгов. Она подозревает, что в амбарной книге у Барента не меньше десятка кредиторов, и еще столько же он туда не внес.

Верхний Ист-Сайд

Май 1958 г.

Весенняя жара. В пятницу задолго до конца рабочего дня Марти выходит из ресторана в рубашке, в одной руке шляпа, через другую перекинут пиджак. Он слегка пьян, во рту привкус аниса и бифштекса. Когда он толкает тяжелую деревянную дверь и оказывается на Пятой авеню, город ударяет в грудь, словно воздух из распахнутой дверцы печи. На миг он слепнет – от металла, стекла, асфальта бьет свет, яркий, как сварочная дуга. Его обдает запахом гудрона – на углу рабочие латают дорожное покрытие, к большому неудовольствию сигналящих таксистов. Сцена отражается в витрине старого и почтенного ювелирного магазина – прозрачные мужчины с лопатами на фоне черного бархата и бриллиантов. Отражение Марти мелькает в стекле. Он мог бы купить Рейчел подарок в честь сегодняшнего события, но эта мысль приходит ему уже через квартал. Двое швейцаров под навесом жалуются друг другу на жару, и Марти сочувственно им кивает. У него всегда была слабость к швейцарам – синеворотничковым адмиралам города, как называл их его отец. Тротуар через ботинки обжигает ступни, раскаленный воздух задувает в штанины. Марти переходит на парковую сторону улицы, в тень от стены. Клэй велел не возвращаться сегодня на работу, так что Марти идет вдоль парка на север, прочь от офиса.

Он пытается вспомнить, в каких точно словах Клэй сделал объявление, когда партнеры уже немного размякли от божоле. В партнерстве есть что-то общее с браком, только времени на работе проводишь больше, чем дома. Все кивали, посмеивались или рассеянно ослабляли ремешки часов. Все, за исключением Роджера Барроу, старшего партнера и тоже патентного поверенного, который изучал меню десертов. Клэй вручил Марти новые визитные карточки и авторучку «Картье» с именной гравировкой. Маленькие коробочки с подарками были завернуты в бумаги от скандального контракта, с которым у фирмы были в свое время большие проблемы, и перевязаны красной бюрократической ленточкой. Марти сказал, что оценил символизм, и все подняли бокалы за его будущие успехи. В понедельник он переедет на верхний этаж, в кабинет, из окна которого виден Манхэттен, а не кондиционеры соседнего здания. У Гретхен, его секретарши, теперь тоже будет окно. Надо не забыть принести ей цветы на

новый стол. Какой-то знак нового начала. Марти замечает, что тюльпаны в парке уже отцвели – жара их уничтожила.

На улице полно людей, возвращающихся с долгого обеденного перерыва. Рекламные агенты в ослабленных галстуках, секретарши в клетчатых юбках, с вязаными шелковыми шарфиками на шее. Марти улыбается проходящим девушкам, по-прежнему думая о платоническом букете для Гретхен. Он вспоминает, что желтые розы – цветы дружбы. Девушки весело обсуждают планы на выходные, щеки покраснели от ходьбы и от выпитого за ланчем. Марти вроде бы даже ощущает цитрусово-жасминный запах духов, нанесенных у них за ушами. Некоторые улыбаются в ответ – их глаза скрыты за темными очками, как у Греты Гарбо, так что выражения не прочесть. Что в их улыбке – кокетство или просто доброжелательность в кружевной тени вязов? Марти надевает шляпу и надвигает ее пониже, чтобы ограничить поле зрения, убрать неопределенность девичьих лиц. Мир обрезан, существует только от пояса и ниже. По анонимным туфлям, чулкам, подолам юбок он пытается угадать что-нибудь о людях. Но почти каждый раз, поднимая взгляд, чтобы проверить свое предположение, он видит, что ошибся. Стоптаные ботинки, лопнувшие по одному шву, принадлежат аристократичному старику, а не докеру. Рейчел говорит про Марти, что он страдает своего рода слепотой – входя в комнату, замечает окна, а не людей и мебель.

Он думает, как сообщить Рейчел новость. В последние несколько месяцев она немного повеселела, за ужином с юмором рассказывает про свой день. Марти гадает, пройдет ли когда-нибудь тоска бездетности или всегда будет на периферии сознания, словно поблескивающий на солнце нож. Впрочем, атмосфера в доме точно переменялась. Они даже несколько раз занимались любовью и говорили потом не о прошлом, а о будущем. Что-то дурное ушло, и Марти это чувствует, будто некая сила, которую он считал безразличной, оказалась способна на благо и влечет его вверх. На встречах с клиентами он говорит уверенней, тверже отстаивает интересы фирмы. Порой произносит что-нибудь умное, совершенно не помня, чтобы обдумывал это заранее. Неожиданные подарки. Свободные места для парковки, пустые телефонные будки в ресторанах. Марти видит в них добрые знамения, и они словно обостряют его чувства, учат обращать внимание на собственную везучесть. На ходу он ощущает мелкие особенности улицы, жаркий воздух на ладонях и шее, легкую тяжесть булавки для галстука на груди, синкопированный джаз из радиол в проезжающих машинах. Он ловит обрывки разговора двух пешеходов и понимает, что один из них терзается мучительным чувством вины. Целых полчаса на душе у Марти легко и он испытывает любовь ко всему, что видит

вокруг.

Вместо того чтобы войти в подъезд, он переходит улицу и поднимается по ступеням Метрополитен-музея. В начале юридической карьеры он после дедлайна иногда брал такси и убивал время перерыва в музее. Можно было поесть дома с Рейчел, но он предпочитал гулять среди произведений искусства. Отец рассказывал, как молодым банкиром в Амстердаме съедал свой бутерброд в средневековом дворе, замурованном современными зданиями. Важно побыть наедине со своими мыслями, как бы говорил он, сесть где-нибудь на скамейку, и пусть мир часок грохочет вокруг без тебя. Марти не был в Метрополитен-музее уже несколько лет, хотя они с Рейчел живут через улицу и все это время состояли в обществе друзей музея и жертвовали деньги. Если Марти не путает, он помог в приобретении золотой пластины железного века – сцены с крылатыми созданиями и условными деревьями.

Он показывает служительнице членскую карточку и входит в большой зал. Под арками и сводами туристы смотрят в карты и путеводители; семейство, говорящее с тexasским акцентом, не может выбрать, куда идти – к средневековым доспехам или к доколумбову золоту. Марти обычно быстро проходил через пестроту первого этажа, поднимался на второй и тихонько садился перед Рембрандтом или Вермеером, чувствуя себя виноватым, будто перешел напрямиком к посткоитальной сигарете. По большей части он вообще не думал о самих картинах, просто смотрел на них и позволял мыслям течь свободно по неведомым ассоциациям: от хитрой задачи в новой патентной заявке к отблеску детских воспоминаний: они с дедушкой и бабушкой едят соленую треску на берегу в Схевенингене, Северное море холодит босые ступни... Мысли набегали, теснились, потом постепенно отпадали, и оставалось только чувство. Если сидеть достаточно долго, он в конце концов улавливал ностальгию, горечь утраты или восторг, исходящие от конкретной картины. Рембрандт, что бы тот ни изображал, всегда вызывал ощущение зимнего отчаяния, одиночества синих сумерек. Потом Марти плелся в офис подавленный и до конца дня не мог сосредоточиться на работе. Отчасти поэтому он перестал ходить в музей.

Сегодня он поднимается по высокой прохладной лестнице и забредает в маленькую галерею постимпрессионистов. Его никогда особо не трогали Гоген и Ван Гог, но что-то в погоде разбудило у него желание смотреть на индиго тихоокеанского острова и смуглые женские груди. Он садится перед «Двумя

таитянками», кладет пиджак и шляпу на кожаный диванчик рядом с собой. Картина кажется такой современной, что трудно поверить – она старше нынешнего кинематографа, автомобилей, кондиционеров, неоновых вывесок. Две девушки смотрят на зрителя, за ними ореол озаренной солнцем листвы. Та, что держит блюдо с цветами манго, обнажена по пояс, у второй одна грудь выглядывает из простого одеяния – куска светлой ткани. Они смотрят на зрителя и в то же время мимо него, словно их вниманием завладел ребенок или зверек за пределами рамы. Взгляд чувственный и вместе с тем смутно обвиняющий. Они напоминают Марти некоторых обнаженных Мане, Олимпию на ложе, глядящую из другого столетия, – одна рука прикрывает лоно, создавая границу, за которую зрителю доступа нет. Тени у Гогена лиловые, почти ночные в своей насыщенности. Марти слышит шаги по деревянному полу и понимает, как долго просидел, уставившись на три голые груди.

Он выходит на балкон над большим залом и тут решает найти телефон-автомат и позвонить Гретхен, рассказать ей хорошие новости. На первом этаже рядом с гардеробом несколько автоматов, но приходится разменять в сувенирной лавке доллар, чтобы позвонить. Марти находит в кармане полпачки мятных таблеток, сует одну в рот и пытается вспомнить свой рабочий номер. Он набирает телефон общего секретаря и просит соединить с Гретхен. Та берет трубку после второго гудка, и Марти пугает официальность собственного имени: «Кабинет Марти де Гроота».

– Быстро соедини меня с Марти де Гроотом. Я скажу этому болвану пару ласковых. – Он старательно изображает русский акцент – капитан подводной лодки в запое.

– Я ни разу не поддавалась на эту шутку. Это даже не русский акцент. У вас такой голос, будто вы ударились головой.

Марти фыркает, выдыхая мятный запах.

– Вы правы. За пять лет ни разу не обманулись.

– Как прошел ланч партнеров?

– Вы знали?

- Что?

- Что в понедельник мы переезжаем наверх.

- Вас сделали партнером. - Это разом вопрос и утверждение.

- Да, как раз успею слетать в космос.

Он слышит ее дыхание и улыбается в телефонную трубку.

- Это правда замечательная новость.

- Мне не разрешили сегодня возвращаться на работу. Клэй выгнал меня до понедельника.

- То-то я почувствовала что-то подозрительное, когда мистер Томас попросил меня не ставить вам никаких дел на вторую половину дня в пятницу. Это было две недели назад.

- Они сговорились заранее.

В трубке наступает тишина. Марти силится применить по телефону свою уличную телепатию и угадать, о чем думает Гретхен. Ей двадцать пять, она окончила Нью-Йоркский университет и по-прежнему живет в Гринвич-Виллидж. Ее специальность по диплому - английская литература, она держит в ящике стола «Беовульфа» на древнеанглийском, и Марти не раз ловил ее на том, что она произносит себе под нос задненебные англосаксонские звуки. И хотя в перерыв она читает в парке интеллектуальные романы и рассказывает об экзотических ресторанах, в ее внешности нет ничего богемного. Она приходит на работу в безупречно строгих шерстяных юбках, ее каштановые волосы всегда зачесаны назад и заплетены в тугие спирали французских кос.

Марти говорит:

- Без вас я бы этого не добился. Спасибо, что прибирали мой стол в конце каждого дня. И простите, что я не следую вашей системе цветовых кодов.

- Не за что.

Он не дает паузе снова затянуться надолго.

- Может быть, встретимся и отметим? Я брожу по Метрополитен-музею, всячески пытаюсь избежать туристов в отделе Древнего Египта. Не хотелось бы получить гипертонический приступ.

- Вы уже сообщили новости миссис де Гроот?

Он понимает, что Рейчел она упомянула не случайно.

- Она у своей больной матери в Хэмптонах. Я сделаю ей сюрприз - приеду туда завтра утром. - Ложь дается без малейших усилий, шпингалет защелкивается.

Гретхен молчит, слышно, как она шуршит бумагами на столе.

Марти продолжает:

- Но если вы хотите уйти сегодня с работы пораньше, то вы свободны. А я еще погуляю по музею.

- Я буду рада с вами встретиться, - отвечает она. - Готовы побывать к югу от Таймс-сквер?

- Для меня все за Сорок второй улицей - белое пятно.

- Встретимся через час в «Таверне Клода» в Гринвич-Виллидж.

- Было бы не так жарко, я бы прошелся пешком.

- Вы хоть представляете, сколько дотуда?

- Мили две?

- Четыре как минимум.

Они заканчивают разговор, и Марти вытаскивает из кармана еще мелочь. Набирает свой домашний номер. После душевного разговора с Гретхен голос экономки кажется таким грубым, что Марти чуть не вешает трубку. Однако он сдерживается и просит позвать Рейчел. Она идет к телефону невыносимо долго. Марти гадает, что Рейчел делает дома без него. Может, они с Гестер сидят в халатах и смотрят по телевизору мыльные оперы? Может, Гестер надевает фартук только без десяти шесть, к его приходу? Все эти мысли проносятся у него в голове, и вот он уже говорит Рейчел, что его пригласили на импровизированный ужин с партнерами, который может затянуться допоздна, и что он думает, новости могут быть очень обнадеживающими. «Я надеюсь, что это так, ради тебя», – несколько раз повторяет Рейчел. Наконец Марти вешает трубку и выходит из музея. На улице он закатывает рукава рубашки, смотрит на часы, потом на свой пентхаус. Над парапетом четырнадцатого этажа видны верхушки маленьких цитрусовых деревьев, которые Рейчел старательно подрезает и поливает. Марти решает пойти пешком.

Через час он понимает, что безнадежно опаздывает и к тому же взмок от пота. Хмель выветрился из головы, и где-то уже в Гринвич-Виллидж его настигают первые симптомы похмелья. Марти спрашивает прохожих, как пройти к «Таверне Клода», но никто про нее не слышал. Возле Нью-Йоркского университета он идет мимо кафетериев, где студенты толкуются у подогревательных шкафов, – запах тушеного мяса почти апокалиптический; мимо прачечных-автоматов, где молодежь в «левисах» курит, листает книжки в мягких обложках и играет в карты под огромными потолочными вентиляторами. Видит одиноких мужчин, которые едят «круглосуточные завтраки» за пластмассовыми стойками, и чувствует, что он здесь иностранец. Уличные городские церкви и кулинии. Металлическая тележка, с которой торгуют соком папайи. Продавцы тащат тяжелые коробки с продуктами в подвалы под тротуаром. Для Марти это все равно что Мозамбик – такая же экзотика.

Еще через полчаса он натывается на «Таверну Клода» – набитый телами полуподвал. Окна заложены кирпичами. В сигаретном дыму под неоновыми лампами играет джазовый квинтет, модная молодежь раскачивается, как пятидесятники на общей молитве. Марти протискивается через толпу, высматривая Гретхен, где-то под ногами рокочет метро. Невероятно, но она сидит в низковаттной полушарии кабинки, читает французский роман. Это напоминает ему о Рейчел, но он гонит непрошеную ассоциацию прочь.

Гретхен поднимает голову:

- Господи, вы пешком шли, да?

- Я понятия не имел, что это здесь.

- «Таверна»?

- Южная половина Манхэттена.

Она улыбается. Он кладет руку на край стола, но не садится.

- Вы разве не бываете здесь на деловых встречах?

Ему приходится перекрикивать шум:

- Фирмы с Уолл-стрит скрывают, что это здесь. Надевают гостям на голову мешок, прежде чем посадить их в такси. - Он оглядывается по сторонам. - Я пойду добуду нам выпить. Если не вернусь через три дня, прочтите на моих похоронах Китса. Вам что принести?

- Удивите меня. Что-нибудь со льдом.

Марти протискивается через толпу к бару, разглядывая по пути музыкантов - пятерых негров в белых костюмах. В старших классах он играл на трубе, и звуки джаза всегда пробуждают в нем жалость к пареньку, которого отец заставил бросить музыку. Трубоч наводит раструб инструмента на толпу, похабя полнозвучную ноту, глаз не видно под надвинутой шляпой. Пианист отрывает зад от табурета, врубается в клавиши, ударник напряжен и полускрыт в тени, костяшки пальцев поблескивают над тарелками. Марти наконец пробирается к бару - похожему на баржу деревянному колоссу, словно выловленному со дна Ист-Ривер. Очередь - в три ряда, и Марти машет двадцаткой, чтобы привлечь внимание бармена. Он заказывает себе неразбавленный виски, Гретхен - «Пимс-Кап» с большим количеством льда[9 - Он заказывает себе неразбавленный виски, Гретхен - «Пимс-Кап» с большим количеством льда. - «Пимс-Кап» - летний крюшон из апельсина (лимона), огурца, клубники, мяты и так далее с газировкой и чем-нибудь крепким: виски, водкой, джином или коньяком.

Официальный напиток Уимблдонского турнира.]. Доносит напитки до кабинки, ставит на стол, садится напротив Гретхен. Полумрак сглаживает ее лицо – россыпь веснушек на щеках и носу кажется загаром.

– Я вас не услышу, если не сядете рядом, – говорит она. – Надо мне было выбрать другое место.

Он с улыбкой пересаживается. Наклоняется к ней, чтобы заговорить, но запах ее волос на миг лишает его дара речи. Он сглатывает, прежде чем произнести:

– Я чувствую себя антропологом в джунглях Борнео.

– Ваше здоровье. – Гретхен поднимает стакан. – За Марти де Гроота – партнера.

– За вас. Потому что без вашей помощи я бы этого не добился. Сколько раз вы говорили Клэю, что я на встрече с клиентом, когда он бывал не в духе. Спасибо!

Они чокаются и отпивают по глотку.

– «Пимс» заставляет меня думать, что мне стоило заняться теннисом.

– Как он?

– Замечательный.

– Если я не ошибаюсь, вы живете неподалеку.

– Да. Моя тайная жизнь. Будни в юридической конторе, выходные в Вашингтон-сквер-парке.

– Мне кажется, вам это подходит.

Она улыбается, глядя в стакан, от ее дыхания над кубиками льда поднимается пар. За пятнадцать лет брака Марти ни разу не изменил Рейчел, но за плечами у него целая череда неслучившихся служебных романов и ланчей с девушками, которые носили шерстяные юбки и заколки в волосах. Лишь через много лет он

понял, что его привлекают именно флирт и обожание, а не победа как таковая. Однако сейчас Марти ощущает нервозность и неуверенность – знак, что он готов переступить новую границу. И хотя Гретхен всегда была к нему внимательна, остается шанс, что он все неправильно понял. Неверно сложил улики, как на улице, когда пытался угадать жизнь человека по его обуви. Марти еще дважды подходит к бару, каждый раз размахивая двадцаткой как обещанием огромных чаевых. Он чувствует на себе косые взгляды. В кабинке он упирается ладонью в зеленую кожу диванчика и задает Гретхен вопросы. Они говорят о ее семье и детстве, о поездках в Монреаль, о том, как трудно учить иностранные языки. Марти знает несколько голландских фраз, и он выдает их за пьяный средневековый английский. Гретхен смеется. «Лучше вашего русского», – говорит она и отпивает коктейль, звякая льдом о зубы. Марти слушает внимательно, но чувствует тепло от ее ног под столом. Ее бедро – в дюйме от него, и Гретхен, говоря, придвигается чуть ближе.

Марти представляет, как кладет руку ей на колено или на ладонь, но тут его отвлекает начинающаяся рядом ссора. Ударник только что закончил залихватское соло и выдал в финале индейский боевой клич, и теперь что-то происходит в толпе: слышны повышенные голоса, кого-то выталкивают. Атмосфера накаляется. Марти чувствует запах пота, пива и чего-то первобытного. Чувствует драку еще до того, как она началась, – движение молекул перед ударом молнии. Он наклоняется к Гретхен и говорит: «Нам надо уходить. Кажется, тут сейчас будет беспокойно». Берет ее за локоть и тут же отпускает, пока она застегивает сумочку. Когда они выходят из кабинки, толчки переходят в удары, которые они не видят, но слышат сквозь хаос плотно прижатых тел. На лестнице Марти оборачивается. Кого-то бросили на барную стойку, осколки стекла за ним – словно хвост кометы. Марти изумлен, как красиво это выглядит и как оркестр продолжает играть свой четкий синкопированный ритм. И тут же наступает перемена, будто срочная телеграмма со сцены. Трубач отвлекается под конец соло, звук слабеет, словно его внезапно прихватила простуда. Это сигнал: все в панике бросаются наружу.

Ближе к полуночи они стоят на углу. Люди выходят из баров на Макдугал-стрит, парочки держатся за руки и пьяно перешептываются. Несколько музыкантов грузят инструменты в автомобили. Марти покупает два хот-дога, и они с Гретхен едят на ходу – якобы он провожает ее до дома. В ушах по-прежнему гудит после ночного клуба. Они стоят перед ее домом; по каменному фасаду зигзагами взбираются пожарные лестницы.

– Раньше был лифт, теперь только пешком, – говорит Гретхен. – Если вас не пугает подъем, зайдём ко мне, выпьем по рюмочке.

Говоря, она смотрит на свои туфли и непроизвольно передергивает плечами. На Марти накатывает нежность; ему хочется сказать, что он порядочный человек и, что бы ни случилось, будет к ней добр. Вместо этого он говорит:

– Показывай дорогу, мой маленький шерпа.

Поднимаясь за ней по лестнице, он смотрит, как уверенно покачиваются бедра под ее шерстяной юбкой. В нем нарастает желание: внизу живота будто фунт свинца. Квартирка Гретхен обставлена в китайском стиле – светлые деревянные полы, глиняные чайнички и книги на лакированных полках. На журнальном столике – стопка романов. В полутемной спальне Марти различает гитару на стене и наброшенный на лампу платок. Гретхен говорит, что сделает им выпить, уходит на кухню и начинает открывать шкафчики с аккуратно составленной керамической и стеклянной посудой. Наверняка она устраивает приемы для друзей – бонвиванов, актеров, фотографов. Она открывает холодильник и начинает сетовать, что сто лет его не размораживала – до формочек со льдом не добраться. Марти наблюдает, как она созерцает сугробы в морозильнике. Мысленно он выдергивает деревянную шпильку из заколки, и волосы Гретхен падают волной. Мысленно он задирает ей сзади юбку, прижимает ее к дверце холодильника. Тут он замечает фотографии, закрепленные на дверце магнитами: пожилая супружеская чета на крыльце деревенского дома, морской пехотинец, возможно брат, в форме, девушка в ножных ортезах (видимо, последствия полиомиелита) рядом с сияющей Гретхен лет четырнадцати. Такое внезапное окошко в ее сельское детство могло бы заново обострить его желание, а вместо этого желание слабеет. Марти никогда не испытывал к ней отеческих чувств – до сей минуты, когда она споласкивает под краном обмерзшую инеем формочку и распределяет лед по двум стаканам.

Со стаканами в руках они возвращаются в гостиную, и Гретхен ставит для Марти джазовую пластинку – Майлз Дэвис, «Blue Haze» [10 - ...Майлз Дэвис, «Blue Haze». – «Blue Haze» (англ. «Голубая дымка») – компилятивный альбом, составленный в 1956 году из записей, сделанных Дэвисом в 1953 и 1954 годах для Prestige Records.]. Он спрашивает про детство в Мичигане.

Сестра, переболевшая полиомиелитом, по-прежнему живет дома с родителями-лютеранами, брат служил в Корее, теперь он хозяин магазина бытовых электроприборов Каламазу. Эти подробности тушат в Марти последние остатки

желания.

Когда пластинка доигрывает до конца, Гретхен спрашивает:

– Вы никогда не хотели завести детей?

Вопрос застаёт Марти врасплох, и он некоторое время смотрит в стакан.

– Мы очень хотели детей, но не получилось. Оба раза мы уже выбирали имена. Я постоянно носил в кармане два списка. – Он отпивает из стакана и смотрит в стену.

– Ой, Марти, извини, я не знала.

Звук его имени из ее уст исполнен нежности, и Марти надеется, что сегодняшняя ночь, когда он чуть не изменил жене, не испортит их плодотворные рабочие отношения. Он последний раз смотрит на фотографии, вспоминает дверцу собственного холодильника без единого снимка и привычно перебарывает старую боль бездетности.

Молчание затягивается. Наконец Гретхен встает и говорит, что сварит ему кофе на дорожку. Чуть позже он в дверях целует ее в щеку и говорит: «Спасибо, что помогли отпраздновать». Закрыв за ним дверь, Гретхен закусывает нижнюю губу и смотрит на обшарпанный пол, немного смущаясь того, что приоткрылось начальнику в ее жизни.

Он идет на запад через тихую ночную Гринвич-Виллидж, потом на север вдоль Гудзона. На воде чернеют рыбачьи лодки и дробятся огни Джерси. На душе у Марти легко, как будто он чудом избежал чего-то ужасного. Эти улицы принадлежат чьей-то чужой карте города, но Марти испытывает к ним нежность. Мимо проезжают такси, однако он продолжает идти пешком из желания пройти как можно больше, прежде чем вернуться домой и приступить к следующей фазе жизни. Он проходит через цветочный район, где рабочие выгружают из грузовиков охапки цветов, а продавщицы готовят магазины к открытию. Марти просит у рабочего продать ему букет прямо в газетной обертке. В бумажнике нет денег меньше двадцатки, и Марти, протягивая ее,

говорит: «Сдачи не надо» – и шагает дальше, вбирая непривычные виды Шестой авеню поверх пука гардений. Треснутое окно слесарной мастерской, витрина химчистки, в которой висит на плечиках одинокая белая рубашка. Марти на секунду останавливается, думая о ней и о ее бывшем владельце. Потом поворачивается и машет рукой проезжающему такси.

В дом он входит как можно тише, кивает ночному консьержу. В персональном лифте снимает ботинки и выходит на двенадцатом этаже, держа их в руке. В пентхаусе стоит тишина. Марти в одних носках поднимается по лестнице. Керреуэй не лает – наверное, свернулся на постели у спящей Рейчел. На верхней площадке лестницы Марти кладет цветы на тумбу одежной вешалки и направляется к спальням. Рейчел и впрямь спит, пес свернулся клубочком у нее в ногах. Марти чувствует, что она ждала его до последнего, и ощущает укол вины. Пусть он не переспал с Гретхен, у него на какое-то время возникло такое намерение, и с этим теперь жить. Когда он открывает дверь ванной, Рейчел вздрагивает и начинает говорить, не просыпаясь. Так действует на нее снотворное – вытаскивая слова из беспробудного сна. «Никому этот дом не нравится... Тут пахнет подгорелым хлебом», – говорит она. Марти стоит на пороге ванной и смотрит на лицо жены, пока та беседует с потолком. «И лестница никуда не ведет...» Он переводит взгляд на картину, на девочку рядом с березой. Это замершее зимнее мгновение всегда успокаивает его мысли. И тут он замечает что-то странное на внешнем краю рамы. Много лет он наблюдал, как древние медные гвоздики покрываются зеленой патиной, и волновался, что это может повредить полотно. Следом всегда приходила мысль, что надо бы заменить раму. Однако сейчас Марти не видит гвоздей. Внешний край рамы грубо обработан и забрызган позолотой, но там нет ни единой медной шляпки. Марти тихо снимает картину со стены и уносит в ванную, ставит на коврик, водит рукой взад-вперед по раме. Ему приходит мысль, что Рейчел тайно отдала полотно реставраторам – почистить и обрамить заново, а значит – он перед ней в ужасном долгу. Затем он поворачивает картину лицом к себе: она выглядит грязнее обычного, слои старинного лака – словно туман.

Сидней

Июль 2000 г.

«Как все убого получилось», – думает Элли, замирая в кухне с подносом в руках. Оливки и миндаль, тонкие лепешки с выдержанной голландской гаудой. Элли огорчает не еда (с едой как раз все в порядке), а зрелище пяти человек, неловко стоящих на веранде. Формально они отмечают присуждение ей премии Женского совета по искусству и переиздание ее книги «Художницы голландского Золотого века». Две коллеги из Сиднейского университета, сестра Элли из Блю-Маунтинс, аспирант-искусствовед и подруга времен школы-пансиона. Три года в Сиднее, и это все, что она смогла наскрести. Они стоят с бокалами вина, обсуждают предстоящую Олимпиаду и смотрят на попугаев розелла в древесных кронах. По крайней мере вид тут замечательный.

Элли относит тарелку с едой гостям и говорит, что киш будет готов через несколько минут. Сама она не любит киш, но Кейт настояла и даже прочла по телефону рецепт их покойной матери.

Как она превратилась в женщину за шестьдесят, которая кормит кишем с ветчиной и сыром невольников своего званого ужина? Прием затеяла Кейт, но гостей звала Элли и теперь убеждена, что навязала им совершенно ненужное мероприятие. Час или два из своих выходных провести за рулем, добраться на пароме до Скотланд-Айленда, чтобы выпить каберне и повосхищаться видом с моей веранды и моими достижениями. Входя, она слышит, как Майкл, ее аспирант, пытается завязать разговор с Кейт, ее сестрой. Кейт – актуарий на пенсии и любительница бриджа. Все начинается и заканчивается вопросом: «Так вы тоже занимаетесь искусством?», потому что Кейт то ли не слышит Майкла, то ли пропускает его слова мимо ушей и уже начинает рассказывать одну из своих историй про розелл, которые как раз слетают с деревьев на поставленный для них лоток с птичьим кормом. Когда Элли закрывает стеклянную дверь, Майкл смотрит на гладь залива. Две дамы-искусствоведа колонизировали другой конец веранды, стоят спиной к виду, сложив руки на груди, и ведут умный разговор, а может, обсуждают последний факультетский скандал.

У нее порой мелькает мысль, что она купила этот дом с тайным намерением жить тут затворницей вдали от всех. Он стоит на сваях в песчаниковой лощине среди голубых эвкалиптов и высокого камыша, так что с веранды открывается вид на залив Питтуотер. Элли приобрела его три года назад, когда после развода уехала из Лондона и устроилась в Сиднейский университет. Все, включая риелтора, отговаривали ее от покупки. Он назвал Скотланд-Айленд уголком сиднейского рая, где недвижимость не продается. Однако Элли попросила составить себе расписание так, чтобы ездить в университет всего два

раза в неделю; в эти дни она должна успеть на паром и от парома еще час добираться до кампуса. По большей части ей нравится жить одной. А сам дом – церковные своды и стеклянная стена с видом на залив – всегда поднимает ей настроение. Солнечным утром она любит стоять на веранде в халате и рассматривать в полевой бинокль берега и протоки, эстуарии и медно-красные мангровые ручьи, впадающие в залив. Прочный просторный дом и его непрактичное расположение ежедневно напоминают ей, что она свободна. Никому ничего не должна. И вот сейчас у нее на веранде точная имитация дружеского общения, только без дружбы и без настоящего общения.

Она снова направляется в кухню, и тут звонит телефонный аппарат на стене. Первая мысль Элли, что это завкафедрой с извинениями, но это оказывается Макс Калкинс, директор Художественной галереи Нового Южного Уэльса. Он в аэропорту, летит в Пекин. Хотя Элли – куратор выставки голландских художниц семнадцатого века, которая скоро открывается в его галерее, она не пригласила Макса на прием. Он искусствовед старой школы, специалист по средневековой Азии, до сих пор называющий себя ориенталистом, и носит щеголеватые серые костюмы в тонкую полоску. Элли представила его в одной комнате с Кейт и решила обойтись без такого столкновения миров.

Голос у Макса чуть запыхавшийся, и Элли вспоминает его нервическую привычку облизывать губы. Этим тиком размечены его лекции по искусству эпохи Мин.

– У меня скоро самолет, но я хотел поделиться хорошими новостями. Через старого коллегу в Метрополитен-музее мне удалось разыскать нынешнего владельца «На опушке леса». Я позвонил ему сегодня утром и попросил картину на выставку. Вот так просто, как будто такси заказывал.

У Элли перехватывает дыхание, как будто кто-то давит ей ребром ладони между лопаток. Она сглатывает. Киш в духовке подгорает – Элли чувствует запах, но не может двинуться.

– Замечательная новость, – говорит она наконец, но после чересчур долгой паузы и неправильным тоном. В мозгу полная пустота. На веранде ее старая одноклассница взяла бинокль и разглядывает залив.

Месяц назад Элли узнала, что небольшое частное собрание в Нидерландах приобрело картину и готово предоставить ее для выставки. «На опушке леса»

должна была прибыть на этой неделе. Это могло означать только одно: Марти де Гроот умер и либо его имущество ушло с торгов, либо вдова наконец решилась снять со стены прекрасное и зловещее фамильное сокровище. Целый месяц Элли жила с облегчением и благодарностью. Как Макс мог не посмотреть учетные документы к выставке и не увидеть, что голландцы везут им эту самую картину? Потом Элли вспоминает, как Макс выходит на кафедру без записок к лекции, или разгуливает в рубашке с оторванной пуговицей на манжете, или обращается к ней «Элла».

Макс говорит:

– Я немного рассказал ему про вас и про галерею, а потом он заявил, что со своей стороны все устроит сам. Американский филантроп, прошу любить и жаловать.

Элли отводит трубку ото рта и откашливается. Целую секунду она решительно настроена сказать Макс, что из двух полушарий в музей едут две картины с одинаковым названием. Можно назвать это обескураживающей путаницей. Но в итоге она задает вопрос:

– И кто этот щедрый джентльмен?

– Некий мистер Мартин де Гроот с Манхэттена.

Элли подсчитывает в уме: ему за восемьдесят, если это не наследник – полный тезка. Через стеклянную дверь ей видно, как поблескивает на солнце залив.

– Просил называть его Марти. Напористый тип, но широкая душа. Картина хранится у них в семье несколько веков. Удивительно.

От чада пригоревшего киша у Элли кружится голова. Макс что-то говорит, она не слышит за громким объявлением в аэропорту. Наконец его голос возвращается как бы сквозь треск помех:

– ...завещана Метрополитен-музею. Они просто ждут, когда старичок помрет. Но вот что самое замечательное, Элли. Марти захотел во что бы то ни стало привезти картину лично. Прилетит к открытию выставки. Разве не чудесно?

У Элли перехватывает горло.

– Кстати, о полетах, – говорит Макс, – мне пора идти на посадку. Позвоню из Пекина.

Элли боится выдать себя голосом, поэтому бормочет: «До свиданья» – и вешает трубку. На несколько секунд пол кухни уходит из-под ног, словно в падающем лифте. «Я вновь накликала себе катастрофу», – думает она и тупо смотрит на старый дисковый телефон, как будто можно повернуть время вспять и отменить тот звонок. Это продолжается довольно долго, потому что с веранды вбегает Кейт.

– Ты безнадежна! – весело восклицает сестра. – Ушла за вином и застыла на месте, как пациент после лоботомии. Ой, а запах-то, как от пожара! Что ты сделала с бедненьким маминым кишем?

Элли, очнувшись, открывает дверцу духовки. Киш обуглился и дымится. Кейт отодвигает ее локтем, надевает кухонные рукавицы, вытаскивает киш из духовки.

– Умешь ты очаровать гостей, – говорит Кейт и распахивает окно, чтобы выпустить дым. – Ничего страшного, – добавляет она, направляясь к холодильнику. – Я видела у тебя копченую семгу, ее и подадим.

И только вытащив из холодильника пакет с рыбой, сестра оборачивается и замечает серое лицо Элли.

– Что с тобой? Тебе плохо?

– У меня ужасная мигрень. Я почти ничего не вижу.

Кейт с нежной сестринской заботой трогает ей лоб, будто проверяет, нет ли температуры. Все детство они досадовали на мать с ее бесконечными мигренями, потом, в пору полового созревания, головные боли начались у Элли, и к ней Кейт относилась совсем иначе – занавешивала окна их общей спальни старыми одеялами, делала сестре холодные компрессы и приносила ей чай.

– Ляг, я принесу тебе лекарство. С гостями сама управлюсь и спроважу их домой на четырехчасовом пароме.

Элли сама напугана паникой, жгущей ей грудь, руки, лицо. Это что-то царапающее, электрическое, много хуже, чем подступающая аура мигрени. Она кивает и говорит:

– Ты всегда обо мне заботилась, Кейт. Как жаль, что я провела почти всю жизнь вдали от тебя.

Кейт целует ее в щеку и строго указывает в глубину дома.

Элли идет в спальню и закрывает за собой дверь. Садится на кровать, смотрит в окно, скрытая от гостей на веранде. Десяток яхт под наполненными свежим ветром спинакерами скользят к Палм-Бич. Мозг как будто противится стоящей перед ним загадке, и Элли ловит себя на мыслях об отце. Она думает о нем всякий раз, когда траулеры возвращаются после ночного лова или парусник в заливе останавливает ее взгляд. Отец умер еще до того, как Элли исполнилось сорок, но и сейчас стук тросов о металлическую мачту, особенно по ночам, воскрешает его в памяти. Вот он там, спит на своем восемнадцатифутовом кече, чтобы жена и дочери не приставали. Из их дома в Балмейне открывался вид на доки; она помнит отцовское суденышко между темными силуэтами военных и грузовых кораблей. Ночь гудела рокотом генераторов, и Элли всегда гадала, как он спит в таком шуме. Видимо, этот грохот был много лучше девчачьих ссор и жены, зовущей его во сне.

Трудно поверить, что обе картины существовали одновременно почти полвека – планета и спутник на ее орбите. За эти годы были найдены еще несколько картин Сары де Вос, подлинность одной из них установила сама Элли, но «На опушке леса» оставалась главным шедевром. Частный музей в Лейдене согласился предоставить для выставки не только это полотно, но и пейзаж де Вос, которого Элли еще не видела. Может, тоже фальшивка? Слушая, как Кейт отвлекает гостей шутками и копченой семгой, Элли вспоминает конец пятидесятых в Нью-Йорке. Паническое бегство, затем – решительный рывок для возвращения на путь праведный. После успешной защиты и нескольких опубликованных статей ее взяли преподавателем в Лондонский университетский колледж. В тридцать с небольшим она уже получила профессорское место в штате, вырвавшись из мира нью-йоркских подпольных арт-дилеров, «курьеров» и «организаторов», словно из горящего дома, радуясь и

почти не веря, что счастливо отделалась.

Как именно картина вернулась к владельцу, Элли не знала, но в конце 1958-го у Габриеля точно были и копия, и оригинал. В декабре того года Марти де Гроот обратился к общественности – или к ворами и фальсификаторам – как миллионер к похитителям своего ребенка. Он опубликовал в воскресном выпуске «Таймс» призыв на целую полосу и предложил награду в семьдесят пять тысяч долларов. Картина тогда больше и не стоила. Когда появилось объявление, Элли была уже в Европе, и оно попало ей на глаза только через несколько месяцев. Поскольку картина на выставках или аукционах не появлялась, Элли заключила, что копия либо уничтожена, либо хранится как память где-нибудь в чулане у де Гроотов. Теперь, глядя, как поворачивают яхты в заливе, она рассматривает и другие возможности, разбирая их, словно части сложного уравнения.

В одной версии Габриель в мятом бежевом костюме бежит из Америки с выкупом за картину, чтобы провести остаток дней в Марокко или Бразилии. В другой он отбывает срок на Рикерс-Айленд, затем его с позором выдворяют из страны, и он преподаёт основы мировой художественной культуры пенсионерам на вечерних курсах. Долгие годы после того случая Элли была слишком занята выстраиванием своей новой жизни, так что в фантазиях о судьбе Габриеля подсознательно упустила вполне очевидный и элегантный вариант: он возвращает Марти де Грооту картину, получает деньги, а фальшивку оставляет у себя. Теперь, сорок два года спустя, он оказывается на мели. В расчете на то, что Марти де Гроот умер и скандал давно забыт, он продает копию маленькому частному музею в Лейдене. В этом есть дерзость и простота математической истины. И если все и впрямь так, нельзя не восхититься расчетливой выдержкой Габриеля, приберегавшего картину столько времени.

До среды, когда у нее занятия и должен прибыть сопровождающий с картинами из лейденского музея, Элли не покидает остров. У нее стойкое чувство, что любые следующие действия станут началом конца. Она почти не ест, пьет слишком много вина, засыпает в шезлонге на веранде. Сны как будто украдены из фильма Феллини – много тикающих часов, заброшенных зданий, загадочных незнакомцев, покосившихся дверей. Ее постоянно преследует рев садящихся самолетов.

Как-то утром она просыпается в панике и решает написать Максэ электронное письмо. И зачем только она сказала ему по телефону: «Замечательная новость»?

Он скоро увидит документы – не говоря уже о картинах – и задумается, отчего она не предупредила его сразу.

Дорогой Макс!

Надеюсь, конференция в Китае проходит успешно. Должна признаться, что, когда вы звонили, голова у меня была занята немного другим – пришли гости, и я не смогла сразу вникнуть в ваши слова. Так или иначе, похоже, что на выставку к нам везут одну и ту же де Вос в двух экземплярах. Нью-йоркскую картину и дубликат. Не понимаю, как такое могло получиться, но я докопаюсь до сути. Возможно, ошибка атрибуции в Лейдене. Кстати, по утверждению лейденцев, у них есть еще пейзаж де Вос. Так что увидим. В любом случае сообщите мне, если хотите принять меры.

Всего наилучшего!

Элли

Нажав кнопку «Отправить», она задумывается, не слишком ли холодно и расчетливо звучат слова «принять меры». Ждет, что будет дальше. Макс так и не отвечает, но к вечеру приходят мейлы от других хранителей. Они все уже в курсе. У Мэнди, регистратора музейного фонда, в теме письма стоит: «Одна и та же картина дважды». Само письмо такое: «Думаю, Макс хочет соблюдать максимальную осторожность, чтобы слухи о подделке не просочились до открытия выставки. Ему на следующий год уходить на пенсию, так что он не хочет скандала. Нам строго приказано никому из владельцев ничего не говорить. Макс обещает все разрулить лично, когда вернется из Китая».

Элли выгадала себе какое-то время и отыграла назад неудачные слова про замечательную новость, однако теперь ее преследует мысль, что Марти де Гроот вот-вот пересечет линию смены дат. Она пытается вообразить самые страшные газетные заголовки в случае ее разоблачения. В общенациональных газетах это может быть что-нибудь вроде: «Феминистка начала подъем на искусствоведческий Олимп с подделки». Местный таблоид, «Дейли телеграф», ограничится чем-нибудь более простым, например: «Арт-гуру поймали за руку».

Ей видится, как федеральные полицейские входят на ее лекцию по Франсу Хальсу. Ждут в задних рядах, пока она не закончит, вежливо выводят из аудитории без наручников. Или ее вызывают на встречу с деканом, в кабинете у которого сидит детектив в штатском. Элли представляет, как включает в ночи модем, заходит на сайты юридических услуг, ищет международные договоры по экстрадиции, судебные решения по делам о подделке картин. Уголовного преследования, скорее всего, можно не опасаться, но от одной мысли о приезде Марти де Гроота у нее все внутри обрывается.

Угроза разоблачения заставляет вспомнить всю прошлую жизнь, отыскать там признаки испорченности в более широком смысле. Была ли она мошенницей по призванию? Элли припоминает мелкие грешки, как будто они могут вывести на что-то более фундаментальное. Неотвеченные электронные письма, талантливые студенты, которым она могла бы уделить больше внимания, опубликованные обзоры, которым явно недоставало беспристрастности. Она ищет след аморальных поступков, который начинался бы от подделки или даже еще раньше, от магазинных краж во время учебы в пансионе. Но след обрывается после 1957 года. Истина в том, что с тех пор она была дисциплинированным и скрупулезным ученым. Память о том, как она за деньги написала копию картины, преследовала ее всю жизнь; сознание, что она чудом вышла сухой из воды, ощущалось примерно как вина выжившего. И эту вину Элли постоянно пыталась загладить. Ее бывший муж Себастьян, арт-дилер, мягко подшучивал над ней на домашних приемах, говоря, что за двадцать лет она ни разу не превысила скорость, не перешла улицу на красный свет, не смухлевала при уплате налогов. «Что случилось с генами твоих предков-каторжников?» – поддразнивал он, а она кротко улыбалась и вспоминала, как в молодости оказалась пособницей в краже эпохального полотна.

Ища в себе признаки испорченной природы, Элли натывается на нечто неожиданное. На периферии ее размеренной жизни, в центре ее скудного общения, лежит пугающее одиночество. Давно, еще с Англии. До сего дня Элли считала это одиночество освобождением. После лекций она задерживалась в городе, шла посмотреть иностранный фильм и ела попкорн в полупустом зале во время дневного сеанса, не боясь наткнуться на бывшего возлюбленного или подругу, с которой рассталась давным-давно. До нынешнего воскресенья она была убеждена, что это и есть свобода. Теперь думает, как же горько и бедно такое существование.

Потом вспоминает, как в последние три года совершала одинокие экскурсии по местам своего детства. Беспечная туристка в родном краю, где теснятся призраки прошлого. Как это объяснить? Паб в Балмейне, где просиживал целые вечера отец, родительский дом над доками. Весь первый год она бродила по городу, словно охваченная ностальгией. Элли не может объяснить себе, зачем раз десять пересекла залив, повторяя маршрут отцовского парома от Манли до зоопарка Таронга. А ведь отец практически ее не замечал. Один-единственный раз, когда он взял Элли в рубку «Саут Стейна», ее страшно укачало; всю дорогу она судорожно стискивала альбом для набросков. Это было до монахинь и священников, до переходного возраста с его проблемами. Летом залив вонял водорослями и йодом. Элли еле-еле дождалась, когда паром подойдет к берегу. Она быстренько купнулась на огороженном буйками пляже возле паромной пристани, пробежалась по акульему аквариуму и пирсу с аттракционами. Деньги Элли стащила из маминого прикроватного столика (получается, плохой она была уже тогда) и намеревалась развлечься на полную катушку. Через полчаса она, запыхавшаяся от страха, выскочила из «Комнаты ужасов» и побежала к отцовскому парома, чтобы успеть ко времени отправления. «Саут Стейн» только что отчалил. Элли стояла на пристани в мокром купальнике и смотрела на белый след за его кормой. Назад он пришел только через два часа. Все это время Элли терпеливо ждала, глядя, как мальчишки ныряют за монетками с исполинских деревянных пилонов. Отец ни слова ей не сказал, но она усвоила, что миру – и отцу – нет дела до ее поступков и желаний. Часы не перестают идти оттого, что тебе приглянулась какая-то забава. Больше отец ее с собой не приглашал.

Все это проплывает перед ней – другой город, другое время. Та жизнь ушла, но тогда все началось, софиты зажглись, занавес поднялся. Корни Элли-фальсификаторши где-то там, но где именно? Старый дом с его курносой верандой и шаткими оконными рамами снесли, теперь на его месте многоэтажная кирпичная коробка, и о прошлом зримо напоминают лишь бурно цветущая жакаранда и банановое дерево. Все изменилось, но Элли пришла сюда искать угрюмую девочку-подростка, от которой пахло ацетоном. Она понимает, что прошлое для нее живее настоящего, и от этой мысли накатывает удушье. Приглашение стать куратором выставки в Художественной галерее Нового Южного Уэльса должно было стать шагом вперед, началом расширения круга ее друзей и знакомых, возвращением в ряды живых. Вместо этого она вернулась к руинам прошлого.

В среду днем (Элли только что прочитала лекцию о Юдит Лейстер) ей звонят из галереи – сообщить, что курьер с двумя картинами из Лейдена уже в сиднейском аэропорту. Она прикидывает: упаковочные ящики откроют и ее подделку аккуратно извлекут примерно через сутки. За последние месяцы, когда помаленьку начали прибывать картины для выставки, протокол отработали и усовершенствовали. Регистратор фонда на музейном микроавтобусе с охранниками встречает курьера в аэропорту, ящики доставляют в галерею и принимают на хранение, сопровождающего отвозят в гостиницу. Дальше картинам нужно время согреться до комнатной температуры после долгого пребывания в трюме самолета, так что для вскрытия ящиков все встречаются уже на следующий день. Элли говорит сотруднице, что будет в галерее в ближайшее время. Обычно она приезжает только к вскрытию ящиков. Сопровождают картины, как правило, научные сотрудники или хранители, они измучены перелетом и сменой часовых поясов, так что торопятся подписать бесчисленные документы и отдохнуть впервые за несколько дней. Однако именно они следят за упаковкой экспонатов у себя в музее, так что знают о картинах больше других. Элли хочет лично выяснить, что знает голландский сопровождающий.

Чаще всего она оставляет машину на университетской стоянке, едет на электричке до станции «Сент-Джеймс», а оттуда до галереи идет пешком, но сегодня почти бегом направляется к Кинг-стрит ловить такси. Улицы стеклянисто блестят после ливня, в воздухе пахнет железом. Дожидаясь едущего в нужную сторону такси, Элли напоминает себе примечать свет, розоватый оттенок западного неба. Она всегда учила студентов примечать свет, но в последние три дня не видит ничего вокруг. Наконец появляется такси, Элли останавливает его и садится. В газетах что-то пишут о готовности к Олимпиаде, и водитель произносит монолог о том, что город застигли со спущенными штанами. Элли смотрит в окно и видит обшарпанность Кливленд-стрит: ажурные металлические балкончики похожи на кружево ржавчины, фасады облупились, окна арабских ресторанчиков давно не мыты. Это старый Сидней, отцовский город грязи и плесени. К тому времени, как машина подъезжает к галерее, водитель уже перешел к сетованиям, что нынешние люди разучились вести себя вежливо. Элли просит его объехать здание и высадить ее у погрузочной эстакады.

Там толкуются рабочие в синих халатах. В штате музея два упаковщика, два монтировщика экспозиции и плотник. Все они подчиняются Квентину Лафоржу, пожилому аккуратисту в бифокальных очках, называющему себя завхозом. Все остальные называют его Кью[11 - Все остальные называют его Кью. – Кью (Q, с

которой начинается в том числе имя Квентин) – персонаж книг и фильмов о Джеймсе Бонде, глава исследовательского центра Британской секретной службы, который снабжает Бонда шпионской техникой.]. Когда Элли входит, он сидит у себя в кабинете за стеклянной перегородкой, сдвинув очки на лоб, макает в чай печенье и просматривает газету. За последний год, пока выставка мало-помалу формировалась, Элли научилась кланяться в ноги шоферам и работягам, поскольку от них зависит, произойдет все вовремя или с необъяснимыми задержками. Она приносит им сникерсы и дарит на дни рождения абонементы в кинотеатр. Дни рождения вместе с именами и номерами мобильных записаны у нее в ежедневнике. Кабинет Кью – крепость из зеленых шкафов со скоросшивателями и ламинированных таблиц с изолирующими свойствами разной древесины и полимеров. Кью примерно ровесник Элли, но это человек другой эпохи: у него набриолиненные волосы и глаженные носовые платки. Он носит темно-синий халат, из кармашка с вышитыми инициалами торчат цанговые карандаши. От него пахнет столярным клеем.

Элли садится на скрипящий крутящийся стул напротив чисто убранного рабочего стола Кью. Тот поднимает голову, кивает, откусывает от печенья размоченный в чае кусок.

– Так они едут? – спрашивает Элли, стараясь, чтобы голос не дрожал.

– Кто едет? Венера Милосская? Говорите поконкретней, дорогая.

Элли знает, что перед разговором о деле положено минуты три поболтать о пустяках, но не может прогнать мысли о картинах: вот сейчас они проходят таможеню или уже едут в машине по улицам Сиднея. Подделка видится ей похищенным бриллиантом, надежно упрятанным в слоях фанеры и оберточной бумаги.

– Лейденские картины, – говорит она.

Кью, прожевав печенье, отвечает:

– Да, Мэнди и несколько охранников поехали в аэропорт встречать голландца.

Элли неприятно равнодушие в его голосе. Даже если бы в музей везли Караваджо, Кью все так же макал бы печенье в чай и говорил о погоде, скачках,

футболе – о чем угодно, кроме истинной цели своей работы. Любопытства у него не больше, чем если бы он упаковывал и распаковывал пластмассовые сувениры. Поначалу Элли думала, что он и к своим обязанностям относится так же безразлично, пока не увидела в первый раз, как он мастерит упаковочный ящик. Это была истинная красота: каждый стык, каждая реечка или уголок идеально подогнаны по размеру. Кью работал с налобным фонариком, рядом на деревянной тележке лежали чемоданные ручки, медные скобы и клеевой пистолет. Кью несколько часов терпеливо колдовал над ящиком, слушая «Гольдберговские вариации» Баха, а помощники подавали ему нужные стамески, натфиля и чай.

По его равнодушию ясно и другое: Кью не в курсе, что им, возможно, везут подделку. Элли всю жизнь работает с музейщиками и знает, что хранители и рабочие взаимно друг другу не доверяют. Кураторы и Макс Калкинс скрыли новость от ребят в синих халатах.

Ей хочется спросить, когда Мэнди ждут назад, но вместо этого она произносит:

– Как внуки?

– Хорошо. На выходных возил всю банду на пляж Бондай. Ели фиш-энд-чипс, и я даже уговорил одного из мальчишек поплавать.

– Холодновато, нет?

– Чепуха. Разгоняет кровь.

Светский разговор продолжается еще несколько мучительных минут. Кью практически никогда не расспрашивает Элли про планы и выходные, как будто затворничество на острове и статус бездетной разведенной женщины делают ее жизнь непонятной для простого человека. Через некоторое время в кабинет заходит плотник – тихий мужчина по имени Эд – и сообщает, что вернулся микроавтобус. Кью кивает, снимает телефонную трубку, набирает номер начальника реставрационного отдела и говорит: «Приехал голландец с ящиками». Потом кладет трубку, допивает чай, встает. Одергивает халат, проверяет карманы, вспоминает, что очки на лбу, опускает их на нос и щурится за линзами, которые сразу увеличили его глаза. На боковой стене шкафчика висит планшет с памяткой по приему экспонатов и документами на подпись. Кью

забирает это все и выходит, Элли за ним.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Комментарии

1

Больше ста лет картины Юдит Лейстер приписывали Франсу Хальсу. – Юдит Янс Лейстер (1609–1660) – нидерландская художница, автор портретов, натюрмортов, жанровых сцен, предположительно ученица Франса Хальса, жена художника Юна Моленара, мать пятерых детей, с 1633 года – член харлемской Гильдии святого Луки.

2

Он размещает самых богатых ближе к столу «молчаливого аукциона»... – «Молчаливый аукцион» – распространенная в фандрайзинге форма аукциона, при которой нет аукциониста с молотком – просто лежат отдельные листы на каждый лот, в которые участники вписывают свои имена и ставки. На протяжении обеда можно неоднократно подходить, смотреть, перебили ли вашу ставку, и при желании делать новую.

3

...на маленьком полотне Аверкампа краснощекие селяне катаются на коньках по замерзшему каналу. – Хендрик Аверкамп (1585–1634) – нидерландский живописец, создатель маленьких зимних пейзажей с пестрыми фигурками конькобежцев.

4

...растирает пигменты, наносит имприматуру. – Живопись голландского Золотого века была многослойной. Поверх грунта наносилась цветная тонировка – имприматура, обычно умброй или охрой (иногда тониrowали уже сам грунт), дальше мелом или темперой делали эскиз – пропись, по ней наносили подмалевок – первый живописный слой, определяющий композицию, а проработанный подмалевок лессировали прозрачными жидкими красками, причем число лессировок могло приближаться к сотне.

5

...плата три стювера с человека. – В описываемое время основной денежной единицей Голландии был серебряный гульден, равный 20 стюверам.

6

Ван Меегерен добавлял в свои краски бакелит... – Хенрикюс Антониус ван Меегерен (1889–1947) – нидерландский живописец, прославившийся подделкой картин Яна Вермеера и Питера де Хооха. Его подделки продавались за рекордные суммы; в частности, свою картину «Христос и судьи» он продал Герингу под видом Вермеера более чем за полтора миллиона гульденов. После войны ван Меегерен предстал перед судом по обвинению в коллаборационизме

и распродаже национального достояния и предпочел сознаться в подделках, чтобы получить меньший срок. До сих пор в крупных музеях висят картины, в которых подозревают его подделки.

7

Он рассказывает легенды о луковицах, переходивших из рук в руки десять раз на дню, о человеке, отдавшем двенадцать акров земли и четырех волов за одну луковицу «Семпер Августус». – «Семпер Августус» – самый знаменитый, редкий и дорогой цветок эпохи тюльпаномании, с ярко-алыми прерывистыми «языками пламени» на острых белых лепестках. Редкость пестрых тюльпанов определялась тем, что такая окраска – не наследственный признак, а, как узнали только в XX веке, результат вирусного заболевания. Таким образом выращивание тюльпанов превращалось в лотерею, к которой добавлялся азарт игры на бирже – продавались и перепродавались не только луковицы, но и фьючерсы на тюльпаны будущего года и расписки на эти фьючерсы, что привело к возникновению в 1636 году «биржевого пузыря», который в феврале 1637 года лопнул, и цены упали в двадцать раз. После этого многие сорта, в том числе «Семпер Августус», были безвозвратно утрачены.

8

...эта статья экспорта уступает лишь йеневеру, селедке и сыру. – Йеневер (можжевельная водка, голландский джин) – крепкий спиртной напиток, получаемый перегонкой ячменного солода и ароматизированный ягодами можжевельника и другими пряностями. До того как англичане заимствовали эту идею и стали гнать свой джин, Голландия была основным его экспортером.

9

Он заказывает себе неразбавленный виски, Гретхен – «Пимс-Кап» с большим количеством льда. – «Пимс-Кап» – летний крюшон из апельсина (лимона), огурца, клубники, мяты и так далее с газировкой и чем-нибудь крепким: виски, водкой, джином или коньяком. Официальный напиток Уимблдонского турнира.

10

...Майлз Дэвис, «Blue Haze». – «Blue Haze» (англ. «Голубая дымка») – компилятивный альбом, составленный в 1956 году из записей, сделанных Дэвисом в 1953 и 1954 годах для Prestige Records.

11

Все остальные называют его Кью. – Кью (Q, с которой начинается в том числе имя Квентин) – персонаж книг и фильмов о Джеймсе Бонде, глава исследовательского центра Британской секретной службы, который снабжает Бонда шпионской техникой.

Купить: https://tellnovel.com/smit_dominik/poslednyaya-kartina-sary-de-vos

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)